

Всеволод Соловьев

Касимовская невеста



Всеволод Соловьев

Касимовская невеста

«Public Domain»

Соловьев В. С.

Касимовская невеста / В. С. Соловьев — «Public Domain»,

«Касимовская невеста» – роман-хроника XVII века повествует об истории любви и женитьбы молодого царя Алексея Михайловича. Одна из героинь романа – Евфимия Всеволожская, дочь касимовского дворянина.

© Соловьев В. С.

© Public Domain

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
I	5
II	9
III	12
IV	14
V	16
VI	19
VII	21
VIII	24
IX	27
X	29
XI	31
XII	34
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Всеволод Сергеевич Соловьев

Касимовская невеста

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

После долгого осеннего ненастья наконец стала зима 1646 года. Два дня и две ночи в безветренном воздухе падал снег, и выпало его довольно, потом прихватило и сковало морозцем. Потом выглянуло солнце и все загорелось, заблестело. Глаза слепило от яркого света. Мороз не прибывал, но и не уменьшался. Путь установился сразу.

По дороге из Москвы в пригородное село Покровское с раннего утра шло и ехало много всякого люду – молодой царь Алексей Михайлович считал встречу зимы одною из любимых потех своих. Еще за три дня было объявлено по Москве, что в селе Покровском будет львиное зрелище и медвежья травля и что никому, не токмо что боярам и всяким дворцовым людем, но и всем вообще жителям Москвы невозбранно присутствовать на этих царских потехах.

Такое известие Москва приняла с большой радостью: уж очень по нраву всем была медвежья травля, а про львиное зрелище и говорить нечего: лев – зверь редкий, многими совсем не виданный. Привезли его недавно царю в подарок из Кизылбаша, из Персии. Поместили в яме у стены Китайгородской. По целым часам толпы стояли у ямы, видеть ничего не видели, но зато рыкание львиное слышали и оставались этим довольны. А вот теперь и самого этого заморского лютого зверя видеть можно: ну и хлынула вся досужая Москва в село Покровское.

Колымаги за колымагами, сани за санями так и катятся по первопутью. Бояре, весь чин дворцовый, дворяне московские, служилые люди, из купцов тоже немало – всякий разрядился в праздничное платье, изукрасил своих коников, пованешал ковров на широкие сани: тоже нужно и себя показать, в грязь лицом не ударить.

Большие были приготовления к празднику в Покровском. Сначала, как весть прошла о царской потехе, отцы и мужья сразу объявили, что бабам да девкам ехать не следует. Но бабы и девки были на это других взглядов. Они так пристали, так улещали, так упрашивали своих владык домашних, что те наконец, в большинстве случаев, должны были сдаться.

И вот по дороге в Покровское спешат не одни добрые молодцы и старцы, а и дебелие матери семейств и румяные, свежие, как морозное зимнее утро, московские красавицы. Само собою, лица их прикрыты фатой блестящей, сами они закутаны в шубки меховые, и стороннему человеку не увидеть, не разглядеть, сколько красоты и молодости, сколько разжиревшей или высохшей старости заключается в этих огромных грузных колымагах.

Но все же кое-кому поданы весточки, кое-кто с замиранием сердца и с светлою молодою грезой, бросив все дела и заботы, спешит в Покровское, хорошо зная, на какую закутанную, облик человеческий потерявшую фигуру следует глядеть глаз не отрывая, из-за какой фаты непроницаемой будут взглядывать с любовью и ласкою молодые глазки. И никакая строгость нравов и обычаев, никакая зоркость родительского присмотра не помешают кое-кому втихомолку и перешепнуться, и улучшить счастливое мгновение для быстрого, крепкого и сладкого пожатия нежной ручки. Только после этого пожатия не придется спрятать за пазуху маленькой записочки – нежная белая ручка писать не умеет, да и не нуждается ни в каком писанье. Шустрая девчонка из прислужниц, а то так и сама хитрая старая мамка, падкая до подарочков, лучше всяких записочек передадут кому следует и слово нежное, и название одного из благолепных храмов московских, где можно встретиться...

Время близится к полудню; ноябрьский день короток – спешить надо. И спешат, перего- ня друг друга, колымаги и сани.

Вдруг по всему широкому пути смятение: колымаги и сани сворачивают в сторону и останавливаются. Несколько вершников на лихих конях мчатся что есть духу и кричат зыч- ным голосом: «Царь едет!» И точно, из-за поворота дороги, вся в ярких лентах и бубенчиках, вылетает тройка чудных коней.

В расшитых, изукрашенных коврами и причудливой резьбой санях широких, прикры- тых богатой медвежьей полстью, видны две мужские фигуры, закутанные в собольи шубы и в высоких шапках. Хорошо знакомы в Москве два лица эти, – одно уже не первой молодости, благообразное и разумное, да и не без некоторого лукавства во взгляде. Другое лицо красоты поразительной, с ясными небесного цвета глазами, с ласковой улыбкой и милыми, совсем еще детскими, ямочками на румяных щеках.

Тройка мчится, обдавая всех направо и налево снежной пылью. Все ломают шапки и низко кланяются.

Красавец юноша отвечает на поклоны. Его товарищ с важной, величественной осанкой тоже раскланивается.

Промчалась тройка, и за нею трогаются все остановившиеся колымаги и сани, и идет между москвичами всякого рода и звания, пола и возраста оживленный говор.

– Ишь, красотой какую наделил Господь царя нашего батюшку, Алексея Михайло- вича!... что девица красная, наш голубчик!..

– А боярин-то Борис Иванович Морозов, – замечают другие, – важность-то какая, сам, словно царь, раскланивается! Поди, чай, думает, коли бы один-то ехал, так и ему стали бы все кланяться... как же!..

– Ну да что тут, думай не думай, а тепло ему под царскою полстью. Люб ли он кому, нет ли, ему и горя мало. Что хочет, то и делает, всем заправляет. Государь молодой его как отца родного почитает. Да и отец-то, блаженной памяти государь Михаил Федорович, на смертном одре сыну наказывал: почитай-де и во всем слушайся Морозова-боярина, он тринадцать-де лет при тебе неотлучно, воспитал тебя, и такого-де слуги и советника тебе не сыскать. Счастье боярину, счастье великое, что и говорить, другому такого и во сне не привидится!..

Не красны царские палаты в селе Покровском, но любил, бывало, покойный царь Михаил Федорович наезжать сюда и тешиться разными забавами.

Перед палатами двор большой устроен, а на нем отгорожено место для звериной травли. Кругом того места скамьи для зрителей поставлены. Теперь эти скамьи просто ломаются, так много из Москвы наехало.

Бояре с боярынями и боярышнями места заняли, а те люди, что помельче чином, за их спинами теснятся, снег приминают в ожидании потехи.

Для государя с приближенными его на крыльце выставлены скамьи, покрытые ярким сукном и парчою.

К загороженному для травли месту ведет крытый, из досок сколоченный переходец: по этому-то переходцу зверей выведут. Оттуда уже раздается дикий звериный рев, заставляющий вздрагивать женщин и подзадоривающий любопытство мужчин.

Ворота заперты. Никого больше во двор не пускают, да и некуда, и без того давка страш- ная.

Вот на крыльцо наконец вышел молодой царь с боярином Морозовым и толпой царе- дворцев.

Он ласково поклонился всем собравшимся и, весело разговаривая с окружающими, при- сел на свою скамью царскую.

Тучный седовласый боярин, земно кланяясь царю, объявил, что все готово для начала потехи.

– Ладно, так пускай начинают! – расслышала присмирившая толпа звонкий, почти еще детский голос.

Где-то в сенях, за дощатым переходом, послышался оглушительный рев, и через мгновение перед изумленными зрителями в загороженном, но со всех сторон открытом для взоров месте показался лев.

Женщины не стерпели и ахнули, многие так и совсем завизжали и стали прятаться за отцовские и мужнины шубы.

«А ну как прыгнет через загородку, да на нас!» – думала каждая из них.

То же, наверное, думали и многие мужчины, но старались, конечно, казаться спокойными.

Лев, однако, и не помышлял перепрыгивать через перегородку: он стоял очень смирно на месте, дрожа своим крепким, огромным телом и медленно встряхивая гривой. Перед ним в спокойной и непринужденной позе, с длинной плетью в руке поместился его «хозяин», привезший его из Кизылбаша. Это был бойкий детина атлетического телосложения с длинной черной бородой. Он называл себя Ильюшкой Микотиным, но никто не мог наверное сказать, кто он и откуда. Знали только, что привез он зверя невиданного царю в подарок – и царь так обрадовался, что наградил Микотина сукном на однорядку да на кафтан и деньгами пожаловал ему три рубля с полтиною. А затем он был оставлен при льве и давались ему «корм и помещенье».

– Может, и разбойник какой и душегубец, – говорили про Микотина, – да поневоле придется держать его, один он умеет со львом управляться. Лев-то, слышь, ему как малый ребенок покорствуется...

Вот и теперь, поглядел он несколько мгновений прямо в глаза льву, дернул своей плеткой, лев тихонько зарычал и лег перед ним, положив прямо на снег свою громадную, мохнатую голову.

Микотин крикнул какое-то непонятное слово и тихо пошел, мерно шагая вокруг всей изгороди. Лев послушно пополз за ним. Зрители дивились немало.

– Этакого-то зверя страшного и приручил, гляди как! Премудрость!

Недолго, однако, тянулась львиная потеха. Морозу было около пяти градусов, и льва жалели. Его перевезли в Покровское в теплой клетке только для того, чтобы он показался царю и зрителям.

Главная потеха была впереди – медвежья травля.

Когда льва увели за загородку, вышло несколько человек охотников. Их выход был встречен громким одобрением со стороны зрителей. Эти охотники по всей Москве славились. Им уж не впервой приходилось выказывать чудеса ловкости, силы и смелости на медвежьей травле. Все они были одеты в короткие кафтаны, высокие сапоги и низкие меховые шапки с ушами. Вооружение их состояло из рогатины или ножа. Они подошли ближе к царскому крыльцу, поклонились царю и ждали, кому из них он назначит бороться со зверем.

Алексей Михайлович приподнялся с места и весело кивнул им головою.

– Все налицо, – сказал царь, – и ты, старина, здесь, Богдан Озорной!

Старик охотник, к которому обратился царь, еще раз поклонился в пояс и подтолкнул двух молодцов.

– А вот, батюшка государь, – проговорил он густым басом, – привел сынков двух своих, Никифора да Якова, прикажи и им потешить твою царскую милость.

Два рослых, здоровых парня, переминаясь с ноги на ногу, неловко стояли и поглядывали исподлобья, то и дело кланяясь.

– Не раз приводилось мне потешить государя батюшку, царя Михаила Федоровича, – продолжал Богдан Озорной, – и милость я его государскую к себе не раз видел, а ныне, вишь ты, старость одолевать стала, да и рука вот десная, как в позапрошлом лете помял ее мохнатый, что-то неладно ходит. Так, может, парни замест меня теперь потешат твои царские очи.

– Ладно! – сказал Алексей Михайлович. – Который из них старше-то? Пусть он и начинает, а мы посмотрим...

Охотники один за другим исчезли в крытом переходе. На арене остался только Никифор Озорной.

Он огляделся – кругом стена, стена крепкая, которую не сломаешь, через которую не перепрыгнешь в случае опасности. Но он не думал об опасности, он спокойно ожидал противника и отошел на ту сторону круга, которая была как раз против дверец крытого перехода.

Прошло несколько мгновений, зрители затаили дыхание.

На крыльце царском старые и молодые бояре сидели величаво, неподвижно.

Царь Алексей Михайлович нетерпеливо, сам не замечая того, слегка притопывал ногою и не мигая смотрел прямо на арену.

Вот близко, совсем близко раздался глухой рев, дверцы распахнулись, и громадный медведь показался оттуда. Медленно качая головою и изумленно оглядываясь по сторонам, он, очевидно, сразу не мог понять, где он и что это делается вокруг него. Но вот его маленькие, злобно горящие глаза остановились на человеке, бывшем перед ним на таком близком расстоянии. Медведь дрогнул, грозно зарычал, поднялся на задние лапы и прямо пошел на человека.

Как будто электрическая искра пробежала между зрителями. Опять раздалась женские взвизгиванья, но уже никто не обращал на них внимания: все глядели, раскрыв рты и затаив дыхание, на арену.

Никифор Озорной быстро перекрестился, выставил вперед рогатину, отставил ногу и, напрягшись всеми мускулами, ждал противника. Медведь был уже совсем перед ним: неловкое движение, дрогнет рука, не хватит силы – и все пропало: зверь кинется на человека и начнет ломать его... Но Никифор не дрогнул, только глаза его странно, лихорадочно горели. В нем самом проснулся зверь, проснулись злость и отвага. Ловким движением он направил рогатину и сразу всадил ее в грудь медведя, между двумя передними лапами.

Радостный гул пронесся по двору.

Царь невольно привстал со своего места и перекрестился.

Медведь ревел отчаянно и напирал на охотника. Но тот стоял неподвижно, не дрогнув ни одним могучим членом, крепко держал рогатину у ноги своей тупым концом, а острый все глубже и глубже входил в грудь зверя. Кругом белый снег уже начинал обагряться кровью, от которой шел легкий пар в морозном воздухе.

Медведь еще продолжал стоять. Его рев раздавался все громче и громче, но теперь в этом реве слышались совсем новые звуки. Еще миг, еще одно неуловимое движение со стороны Никифора – и громадный зверь повалился всей своей тушей. Зрители закричали, заволновались. Теперь уже победа человека решена, самое важное сделано. Бой почти окончен, медведь погиб.

И действительно, медведь погиб, и торжествующий Никифор Озорной, забрызганный алой, горячей кровью, с побледневшим, но счастливым лицом стоял перед скамьей царской, и молодой царь говорил ему «спасибо».

Победителя охотника повели угощать вином и брагой; его ожидала царская награда: портище хорошего сукна на кафтан ценою в два рубля.

А на дворе и на крыльце царском все опять сидели и стояли неподвижно. Потеха еще не кончилась.

II

Когда вытащили мертвого зверя и замели следы его крови, смешавшейся со снегом, дверца, на которую нетерпеливо смотрели зрители, снова распахнулась. На арену вышел новый охотник – старик небольшого роста, но плотный и, очевидно, необыкновенно сильный. Он был одет, как и его товарищи, в короткий кафтан; из-под меховой шапки выбивались пряди седых волос, небольшая седая бородка торчала клином; но в выражении его благообразного лица сразу замечалось что-то странное.

Выйдя из дверцы, он остановился и потом обошел всю арену, одной рукой опираясь на свою рогатину, а другою ощупывая стену.

– Слепой, Слепой! – пробежало между зрителями.

Действительно, охотник этот был Слепой – таково было его прозвище, а прозвище такое дали ему потому, что он был слеп на оба глаза. И между тем Слепой был одним из лучших царских охотников. Не раз, на удивление всей Москве, он бился с медведем и побеждал его. Его кости, однако, испытали тяжесть лап медвежьих, но все же вот дожил он до старости и невредим остался.

Появление слепого на арене было, конечно, самым интересным зрелищем. На борьбу зрячего охотника с медведем смотрели с любопытством, но не видели в этой борьбе ничего особенного: так к ней привыкли, – да и сами охотники шли на медведя как бы шутя и, побеждая его, не считали это особенным подвигом. А помнет медведь – не беда, мало ли что бывает; совсем убьет, разорвет в клочья – ну что делать, Божья воля, должно, худой охотник, коли не сумел справиться со зверем. Но со слепым выходило совсем другое дело – слепой человек не видит врага своего, ужасного врага, победить которого можно только верно и метко рассчитанным ударом.

Слепой так же, как и его предшественник, обойдя арену, остановился на противоположном конце. Он снял свою шапку – обнаруживая при этом огромный красный рубец на лысом лбу, – подпрятал длинные меховые уши шапки да и опять надел ее на голову. Он не мог закрыть своих ушей – ему нужно было чутко слушать: уши были его глазами.

Слепой стоял и ждал. И все заметили, что он держит рогатину вовсе не так, как держал ее Никифор, а между тем все хорошо знали, каким образом охотник должен встречать медведя.

Что же это такое? Неужели старик так и даст себя на растерзанье зверю? Зверь уж близок, вот у самой дверцы слышен рев его, вот он показался – медведь огромный, больше первого, – вот он увидел противника, по обычаю поднялся на задние лапы и идет на него.

Зрители замерли, даже не слышно женских визгов, даже закутанные фатою боярыни и боярышни не прячутся, а смотрят во все глаза: слишком уж страшно, слишком любопытно.

Медведь подходит к слепому охотнику – и вдруг, в одно мгновение ока, охотник делает прыжок и оказывается совсем в другой стороне арены. Зрители ахнули в один голос, даже медведь остановился в изумлении, неуклюже поворотился и опять пошел на Слепого. Но и тут Слепой готов был его встретить. Он уже держал рогатину по всем правилам, прямо перед собою. Он стоял неподвижно, немного склонив голову на правую сторону, очевидно, всем существом своим прислушиваясь. Вот уже почти над самым ухом его раздается свирепое рычание. Крепкой рукой упирает он перед собой рогатину и попадает ею в медведя. Медведь завопил. Но что это такое? Должно быть, старик все же не рассчитал удара: одной лапой медведь ударил его по плечу и вцепился в него своими крепкими когтями. Старик даже слабо вскрикнул, пошатнулся под натиском медвежьей лапы и присел на землю.

На крыльце царском произошло движение.

Алексей Михайлович вскочил со своего места и закричал громким голосом:

– Эй! Скорее кто-нибудь на помощь к Слепому; ведь зверь разорвет его!

Но Слепой не потерял присутствия духа. Он был уже под медведем; тот, разъяренный страшной болью от рогатины, которую чувствовал в груди, наваливался на него всем своим грузным туловищем. Вдруг Слепой, как-то весь согнувшись кольцом, извернулся и высвободился из-под медведя. Быстрым движением выхватил он нож и по самую рукоятку всунул его в горло зверю. Медведь завопил, кровь так и хлынула у него из раны, он повалился и задергал могучими лапами. Слепой охотник, с разодранным рукавом кафтана и окровавленной шеей, стоял спокойно, высоко подняв голову; незрячие, но открытые глаза его блестели на солнце.

Неудержимые, безумные крики поднялись со всех сторон и долго не смолкали.

Царь велел подвести к себе Слепого, велел осмотреть его рану и поскорей перевязать; расспрашивал, где помял медведь, очень ли больно.

– Пустое, батюшка государь, пустое, – повторял Слепой. – Уж ты не взыщи на мне, старом, что чуть было перед тобою не осрамился я ныне. Вестимо дело, это мне не впервой – я его, где он, и с какой стороны, и как ко мне подходит, не то что ушами, а даже и носом чую, а все же иной раз промахнешься. Ну да и силы уж не те ноне стали. Прежде, бывало, как сунешь в него, это, рогатину, так сразу и чувствуешь, что она прошла, куда ей следует...

– Да что ты там толкуешь, – перебил его царь, – «силы нет», ныне показал ты нам, какая в тебе сила. Коли бы не видел своими глазами, что ты такое сделал, так и не поверил бы людям. Спасибо, старина, – за такую твою службу мы велим наградить тебя, – а только вот что я скажу тебе: довольно, не выходи ты больше на травлю – неровен час, а я не хочу, чтобы тебя зверь на моих глазах растерзал.

И царь, ласково и печально улыбаясь Слепому, будто тот мог видеть эту улыбку, положил ему на плечо свою женственно нежную и белую, но уже крепкую руку.

Старик почувствовал царское прикосновение и дрогнувшим голосом проговорил:

– Царь-государь, на добром твоём слове тебе великое спасибо, но уж дозвожь ты мне, пока силы хватает, ходить на медведя. Почитай, что издетства охотничал, еще как глаза видели свет Божий, а как наказал меня Господь слепотою, покрыл тьмою крошечную очи мои, и то не оставил я своего дела. И ныне, как ни есть, а привелось мне потешить тебя, царя-батюшку, так уж и до конца живота своего мне ходить надобно на медведя... може, мне так написано и умереть под медведем, а я только одно ведаю, что коли мне запрет будет от тебя, так я с одной тоски помру.

– Ну как знаешь, старик, как знаешь! – проговорил Алексей Михайлович и, махнув рукою, чтоб увели Слепого, сел на свое место, и окружавшие заметили, как словно туманом каким заволокло светлое и радостное лицо юноши.

Несколько минут просидел он неподвижно. На арену выходили новые охотники, и должны были появиться сразу три медведя. Но эти охотники и эти медведи были уже не чета прежним. Эти медведи были ручные, и выводились они не для травли, не на смерть, а токмо на потеху христианскому люду. Охотники встречали их не рогатиной, а словам смешливым да прибаутками. По приказу этих охотников медведи представляли: и как карлы ходят престарелые, и как хромой ногу таскает, и как жена милого мужа приголубливает, и как малые ребята горох воруют и ползают, где сухо – на брюхе, а где мокро – на коленях, – и много разного другого.

Эти медведи водку пили из стаканчиков и потом лапой утирались и кланялись православному люду, и люд православный заливался неудержимым хохотом.

Царь Алексей Михайлович особенно любил таких ученых медведей, но теперь он на них и не смотрит. Сидит он опустив голову, и с недоумением, отводя глаза от потехи, поглядывают на него окружающие, и пристальнее всех поглядывает боярин Морозов.

«Что такое случилось с государем? Все был весел и радостен и так любопытно глядел на травлю – известно как любит он эти забавы. Что это, Слепой, что ли, так огорчил его? У государя сердце больно мягкое, доброта в нем великая...»

Но хоть и помял медведь Слепого, да немного, и сам Слепой, смыв кровь с плеча да обвязав его мокрой тряпкой, теперь как ни в чем не бывало пирует среди товарищей.

«Что бы такое это быть могло? – думает боярин Морозов. – И уже не впервой я то замечаю: все весел, весел – и вдруг как туча черная найдет на него, глядит совсем иначе. Не дай бог, уж не болезнь ли какая с ним, не испортил ли кто государя?»

– Что это ты, государь, золотой мой, – шепчет Морозов своему питомцу, – али, не дай Бог, нездоровится тебе?

– Нет, я здоров, чего это ты, Иваныч?! – отвечает царь и улыбается.

Но не весела и не радостна его улыбка, как-то даже побледнели его румяные щеки.

– Скучно, Иваныч, – прибавляет царь и зевает и потягивается. – Все одно и то же... эти медвежьи штуки! Пусть кто хочет остается, а мы поедем-ка в Москву лучше!

Он встает со своей парчовой скамьи и уходит с крыльца в хоромы.

Морозов, переглянувшись кое с кем из окружающих, следует за государем.

III

Во всю дорогу, до самой Москвы, не мог развеселиться Алексей Михайлович. На все расспросы Морозова он отвечал, что чувствует себя совершенно здоровым и что просто ему скучно стало.

– Да вот плохо ночью спал, – наконец объяснил он. – Так, может, оттого и скучно: что-то в сон клонит.

Он прислонился к высокой ковровой спинке саней и закрыл глаза.

Морозов решил оставить его в покое, хоть и сознавал, что сон – только отговорка, что царю вовсе не спать хочется, а этими словами он желает просто-напросто отвязаться от его, Морозова, расспросов. Так оно и было: не дремал, сидя с закрытыми глазами, царь молодой.

«Что такое со мною? – думал он. – Да ничего, ничего, просто скучно. И откуда скука такая берется? Прежде ее не бывало».

Он совсем переставал думать и только прислушивался к скрипу снега под полозьями саней. Он только вдыхал в себя чистый морозный воздух, открывал глаза, мгновенно взглядывал на озаренную заходящим солнцем снежную поляну и опять закрывал их и следил, как перед закрытыми глазами мелькают отражения солнечного света, как ходят золотые кружки и потом отливают то голубизною, то зеленью, потом темнеют, наконец исчезают.

Что-то тихое, тихое и тоскливое наплывает на сердце, что-то звенит будто в ушах, какие-то слова неясные, не то песня, не то музыка – и опять ничего, и опять все в тумане.

Потом вдруг мелькнут живо и ясно, хоть и на мгновенье, образы покойного отца, покойной матери – и расплывутся. Дрогнет сердце при воспоминании о недавней утрате, но новый неясный образ, новое ощущение – жуткое, непонятное, встрепетается в груди. Мелькнет как будто радость, какой никогда не бывало, ожидание чего-то необычайного и счастливого, что близко, вот-вот будет... Но ничего этого нету... и снова тоска, снова скука.

Что, уж и впрямь не болезнь ли это лихая? Не испортил ли кто? Не вынул ли лиходей какой царского следу? Не подкинул ли какую траву негодную на пути царском? Нет! Здоров, полон силы и свежести семнадцатилетний царь Алексей Михайлович. Никто не испортил его. Нет у него лютых ворогов, нет в нем лихих болезней. То не болезни, а юность, и силы, и здоровье сказываются, и просят новой жизни, нового счастья, и поют, и шепчут сердцу, что есть какая-то страна заколдованная и что пришло время заглянуть в страну эту. Вышел из детства царь Алексей Михайлович, жить просится, хоть и сам того не ведает.

Да, прошли детские годы и как прошли-то быстро, и сколько милого, сколько светлого прошло с ними! Какие перемены! Давно ли все это было? Давно ли никакой заботы, никакого горя, никакой темной мысли не знал счастливый мальчик?

Судьба все дала ему для счастливого детства: и отца доброго, и мать нежную, и по сердцу разумного воспитателя, и к ученью большие способности, и к забавам немалую охоту. Не нарадовались, не нагляделись на свое дитячко царь Михаил Федорович с царицею Евдокией Лукьяновной. Глядя на него, разумного, да доброго, да пригожего, – грезили они, что вырастят его, найдут ему невесту по мыслям, будут радоваться на его счастье, нянчить внучат будут, а потом, в тихой старости, отойдут в лучший мир, устроив все житейские дела свои и успокоившись духом.

Но судьба решила иначе. До срока, до времени скончался царь Михаил Федорович, а через несколько месяцев последовала за ним и царица Евдокия Лукьяновна. Государство Русское присягнуло шестнадцатилетнему юноше. Алексей Михайлович, едва справясь со своим горем, едва осушив слезы на гробе добрых родителей, увидел себя главою великого царства.

Долго все было перед ним как бы в тумане, долго ничего сообразить он не мог, но сообразить нужно было, и он очнулся от своего горя, от своего изумления, понял свое новое положение.

ние – и все ближние люди увидели в нем необычайную перемену. Вчерашний ребенок явился разумным юношей и сразу выказал свои блестящие способности и доказал всем, что учился он не даром и что разумные были у него наставники. Первый из них, боярин Борис Иванович Морозов, продолжал иметь на него сильное влияние, продолжал быть самым близким к нему человеком. Даже после смерти царя и царицы эта связь еще более окрепла. Борис Иванович управлял теперь всеми делами, был первым лицом в государстве. Перед ним все должны были склоняться, сознавая, что силу его поколебать невозможно. Но сам Борис Иванович хорошо видел, что не может он назвать себя самовластным господином. Как ни молод, как ни робок еще его воспитанник, а все же не даст себя в обиду, не дозволит вести дела по произволу. В каждом важном деле отчета требует, в каждое важное дело своим юным умом вникает, всем интересуется: «добрый государь будет, добрый и разумный!»

И Борис Иванович держит ухо востро, каждый шаг свой обдумывает, чтоб так или иначе не повредить себе, чтоб поддержать свою связь с государем, чтоб увеличить свое на него влияние.

«Сегодня все в моих руках, – рассуждает про себя хитрый боярин, – но надо подумать и о завтрашнем дне».

И сильно он об этом думает. Думает он и теперь, то и дело посматривая на Алексея Михайловича и раскидывая в уме своем, что бы значило его странное состояние, которое уж не в первый раз он в нем замечает. Сегодня особенно это в глаза бросается. Медлить невозможно, нужно узнать, в чем дело и как помочь этому делу! Нужно переговорить с разумным человеком, ибо ум хорошо, а два – лучше. Разумный человек есть – думный дьяк Назар Чистой, бывший купец ярославский, но теперь видную роль играющий в делах государственных и во дворце царском.

Молодой царь любит Чистого, хоть если бы заглянул он в душу его лукавую, то разлюбил бы. Но душа – невидимка, а на лице думного дьяка такое ясное веселье, такая радушная доброта написаны. Так умеет он разумной и веселой речью развлечь государя, заинтересовать его. Так забавно рассказывает он ему всякие любопытные истории.

Чистой теперь едет с двумя боярами за санями государя. Вот они въехали в Москву, проехали по людным, народом кишачим улицам, в Кремль въехали и остановились перед царскими палатами.

Царь Алексей Михайлович открыл глаза, равнодушно взглянул на свое царское жилище и, поддерживаемый Морозовым, вышел из саней. У крыльца и в сенях его дожидались царедворцы. Ожидали они его милостивого и ласкового слова, его рассказа о медвежьей потехе, которую всегда так любил он.

Но на этот раз царь молчал и только заметил, что проголодался и что не худо было бы поторопить с ужином.

– А пока я пройду к сестрам, – сказал он боярину Морозову.

IV

В последнее время он довольно редко посещал женские хоромы: слишком много было дела. Он продолжал еще и науками заниматься и интересовался всеми делами государственными, заседал с боярами. К тому же его и не тянуло особенно на женскую половину дворца. Связь с ней рушилась со времени смерти матери, да, может быть, в царе говорило и молодое самолюбие: хотелось показать, что он уже человек взрослый, что ему и не след, и неохота проводить время с бабами.

Но теперь ему захотелось в терем, и шел он по дворцовым коридорчикам и разнообразным палатам, то поднимаясь на несколько ступенек, то спускаясь вниз, шел он, и представлялось ему, как, бывало, спешил он по этой дороге к матери, как она встречала его лаской и поцелуями, как всегда у нее готовы были для него всякие сласти и угощения. Невольные слезинки показались в глазах его.

Вот он и в тереме. В тепло натопленной горнице, с украшенной хитро расписанными изразцами печью и лежанкой, сидят его сестры за работою. Вокруг них больше дюжины молодых девушек, а на лежанке старая сказочница, уже много лет проживающая в царском тереме и забавляющая его обитательниц своими рассказами. Она сидит, поджав старые ноги, на теплой лежанке и тянет что-то дребезжащим голосом. Царевны и их подружки внимательно слушают.

Алексей Михайлович остановился у порога.

Сотни раз слушал он эту сказку и наизусть ее знает; точно так же знают ее и теперешние слушательницы. Но им интересно следить за рассказом, за мастерскими переменами интонаций старческого голоса.

О, как все это знакомо молодому царю, вся эта горница, каждая в ней вещица!

Вот спокойное, затейливое креслице, которое лет десять назад государь Михаил Федорович подарил своей супруге. Теперь сидит на нем царевна Татьяна.

Она первая увидела брата и встала ему навстречу.

Между молодыми девушками произошло движение; некоторые из них прикрыли свое лицо фатою, а другие так и остались, они еще не успели примириться с мыслью, что Алеша царь, они все еще называли его промеж себя Алешей и перед ним не чинились.

– Что так рано, братец? – сказала царевна Татьяна, здороваясь и целуясь с царем. – Мы думали, ты сегодня и не вернешься из Покровского... Ну что, хороша была потеха?

– Хороша, – ответил царь, – а все-таки скучно – все одно и то же.

– Да оно точно, – заметила другая царевна, Ирина, – для тебя, может, и скучно, ты этих потех довольно навидался, а вот мы так в кои-то веки увидим, нам все и внове, все забавно.

– А коли забавно, – сказал Алексей, – так отчего же вы, сестрицы, не поехали, я вам в этом не препятствую и ничего тут не вижу зазорного.

– Нет, государь-батюшка, не говори ты так царевнам, – медленно и с достоинством заметила старая боярыня, входя в горницу, – негоже царевнам часто показываться перед народом. А вот коли будет твоя милость, так прикажи в Покровском, как затеется опять травля, у крылечка такое место загороженное, укромное сделать, чтоб можно было в нем от всяких взоров людских укрыться, тогда и сестрицы твои посмотрят на забаву. Уж ты не взыщи на моих словах, государь. Великий тебе разум дал Господь, а все же годочков тебе еще мало, многого ты еще не ведаешь, так нечего сестриц смущать. Нам, старухам, про то надлежит ведать, что для них зазорно и что не зазорно.

Боярыня сжала губы, укоризненно покачала головою и плавною походкой опять вышла из горницы.

Алексей усмехнулся ей вслед и махнул рукою. Молодые боярышни лукаво перемигнулись.

– Ну, рассказывай, братец, все по ряду, как и что было? – стали приставать к нему сестры. Он начал рассказывать, но на этот раз как-то неохотно. Его мысли были далеко, а где – он и сам не ведал.

Начинались сумерки. В теремной горнице водворился тихий полусвет; мешались последние отблески дня, врывавшегося в маленькие слюдяные оконца, да красноватый огонь нескольких лампад в углу у дорогого киота. И вдруг начинало казаться Алексею, что эта знакомая горница стала изменяться. Все принимало новые причудливые очертания – и прежде всего эти знакомые девичьи лица.

Глядит Алексей на одну из боярышень; он давно ее знает, он никогда не обращал на нее особенного внимания, а теперь глядит, не отрываясь от нее жадным взглядом, и замирают на устах его слова, и не слышит он, как сестры понуждают его рассказывать.

Боярышня сидит на низкой скамеечке, прислонясь к теплым изразцам печки. На ней сарафан алого цвета, легкая дымка фаты обвивает ее плечи. Склонилась голова ее на руки, тяжелая коса свесилась и лежит на ковре, перевитая лентами. Глаза глядят задумчиво неведомо куда, а на полных губах мелькает неопределенная улыбка.

«Да ведь это Сонюшка! – думает Алексей Михайлович. – Что ж это я так смотрю на нее? что в ней особенного? Толстая Сонюшка, она ведь у меня леденцы воровала!... Бывало, матушка пошлет ее ко мне с леденцами, она принести принесет на блюдце, а у самой губы и все лицо сладкие и карман так и оттопырится. Бывало, матушка опустит руку ей в карман и вытащит оттуда леденцы, потом и журить ее станет... Да, это Сонюшка, но ведь я никогда ее не видал такую, она теперь совсем особенная; какие у нее хорошенькие глазки, какая коса густая да длинная!...»

И глядит Алексей Михайлович на девушку, и жутко и сладко ему становится, и сам он не понимает, что все это такое.

Вот ему хочется поближе подсесть к ней, взять ее за руки полные, поцеловать ее румяные губы.

Он приподнялся тихонько с места, подошел к Сонюшке и опустил на скамью перед нею.

– Что это ты задумалась? али тебе нездоровится? Ты зачем же прислонилась к печке, от жару только голова разболится, – проговорил он обрывающимся голосом и положил руку на плечо девушки.

Рука его вдруг похолодела и дрогнула. Сонюшка взглянула на него, смутилась, яркая краска разлилась по лицу ее. Она быстро встала на ноги и прошептала:

– Я здорова, государь; что это тебе показалось?

Но он уже очнулся. Ему почему-то стало стыдно. Он был недоволен собою.

– Пора ужинать, чай, бояре заждались меня, – сказал он и смущенный, с опущенными глазами, будто провинившийся, вышел из горницы.

V

Между тем уже давно стемнело. Вокруг дворца было тихо, впрочем, и всегда, за исключением разве каких-нибудь особенных случаев, здесь соблюдалась, по возможности, тишина. Лошади и экипажи не должны были подъезжать к крыльцу, а останавливались на довольно значительном расстоянии, и все люди, имевшие доступ во дворец, приближались к нему пешком и сняв шапки. Бояре, окольниковые, думные и ближние люди имели право входить в «верх», т. е. в жилые хоромы государя. Здесь они обыкновенно дожидались в «передней». Эта «передняя» была заветною мечтою очень многих родовитых и заслуженных людей, которые нередко били челом государю, униженно моля его за их и родительские службишки наградить их – позволить быть в «передней».

Люди же не столь близкие к особе государя – стольники, стряпчие, дворяне, стрелецкие начальники и дьяки – не смели и помыслить о «верхе» и «передней». Они собирались на «постельном крыльце», где постоянно была изрядная толкотня и редкий день обходился без какой-нибудь крупной ссоры, разбирать которую приходилось часто самому государю.

Теперь, однако, благодаря вечернему часу «постельное крыльцо» было почти пусто; на нем виднелись только три-четыре фигуры, мерно расхаживающие в полумраке. Это были старые дворяне, имевшие обычай толкаться у дворца до тех пор, пока их не попросят удалиться. Они хорошо знали, что никакой выгоды не получают от этого снования взад и вперед по крыльцу «постельному», но каждый все же держал в мыслях: а вдруг, не ровен час, его заметят да и пожалуют, а не то, все же придется новость какую-нибудь интересную услышать, которую можно будет потом разнести по городу со всевозможными прикрасами. И они ждут час за часом, почтительно пропуская мимо себя счастливых, отправляющихся в «верх», переговариваются с дворцового прислугой, следят за сменяющимся караулом, всюду во дворце расставленным, голодают и дрожат от холода...

Зимняя ночь уже совсем наступила. Мраком окуталось причудливое дворцовое здание со своими роскошными парадными палатами. Полоса яркого света блеснула с лестницы, ведущей в государевы покои. Туда, туда бы пробраться, хоть глазком одним взглянуть, что там творится! Но лестница заперта медною золоченою решеткой.

Небольшие, уютные хоромы царя освещены восковыми свечами, вставленными в стенные подсвечники. Хоромы эти блестят новизною – они наряжены недавно покойным царем Михаилом Федоровичем, которому так и не привелось пожить в них. Стены и потолки обшиты красным тесом и изукрашены тонкой столярной резьбой, а некоторые обвешаны яркими сукнами, атласами и парчю. Пол устлан мягкими восточными коврами, а в сенях и коридорчиках расписан красками в шахматах и под мрамор. Маленькие, по большей еще части слюдяные, окошки красиво расписаны, но теперь их не видно, так как время зимнее, морозное, и с наступлением вечера закрыты они изнутри втулками теплыми, стегаными. По углам хором жарко натопленные печи изразцовые: синие и зеленые, некоторые из них четырехугольные, другие круглые. Все они снизу доверху по изразцам расписаны травами, цветами, людьми, животными и разным узорочьем. На стенах развешаны листы фряжские (гравюры) и парсуны (портреты царские). У стен расставлены, одна возле другой, лавки, покрытые шелковыми стегаными матрасиками. Кое-где видны между лавок немецкие и польские столы с кривыми резными ножками на львиных лапах: все они хитро разрисованы по золоту и серебру.

Обширнее всех покоев Передняя да находящаяся рядом с нею Комната, то есть нынешнему кабинет царя. В Передней, в углу, большое, обтянутое парчю кресло на возвышении – это царское место. В Комнате, в переднем углу под образами, тоже большое кресло, но не на возвышении; перед креслом стол письменный большого размера, покрытый тонким алым сукном с золотою бахромою. На столе часы заморской работы, изображающие рыцаря в полном

вооружении, серебряная чернильница с песочницей и трубкою, где перья мочить. Вокруг чернильницы разложены перья лебяджи, серебряный свисток с финифтью, заменяющий колокольчик, перочинный ножик, карандаши в серебряной оправе, зубочистка и ухвертка. Далее – клеельница с клеем: это вещь очень необходимая, так как бумага в то время резалась на столбцы, которые по написании подклеивались один под другой. Потом, тут же на столе, «книга уложенная», то есть «Уложение». Книга эта довольно истрепана от частого употребления покойным государем и уже хорошо знакома молодому царю Алексею Михайловичу. Возле письменного стола другой маленький стол с шахматной доской и костяным шахматным ящиком. По стенам Комнаты, где нет лавок, поставцы с полками и выдвигаемыми ящиками; тут хранятся бумаги, письма и любимые вещи царя, его нарядные платья, драгоценные изделия золотые, иноземная монета. Кроме того, в Комнате большая книгохранилищница со многими книгами, главным образом духовного содержания, да несколько длинных висячих полок с золотою и серебряною посудой иноземной работы. Посуда эта – по большей части дары иностранных государей и послов. И каких, каких фигур тут нету! Вот немка золоченая серебряная: держит она в руках сосудец с крышкою; другая немка с лоханкою в руках; третья с ведром; кубок золотой, в виде крылатого змея, расписан весь финифтью, а глава змеиная – изумруд большой, в глазах яхонт, а во рту держит змей голову человечью. Вот медведь, вот слон, кораблик на колесах; и не перечсть всех фигур затейливых. Любит Алексей Михайлович, оставшись один в Комнате и утомившись от занятий, разглядывать эти фигуры. Снимает он их осторожно с полок, вертит во все стороны, любит хитрою работою, а заслышит шаги чьи, тотчас же поставит фигуры на полку и зардеется румянцем – боится, скажут: «Царь еще малолеток, игрушками, гляди, занимается!» Да уж хитры больно и заняты игрушки-то эти!

В этой же царской Комнате накрыт теперь небольшой стол для ужина. Царь очень часто даже и обедает здесь с двумя-тремя из людей самых близких. В Передней давно его дожидаются Борис Иванович Морозов, Назар Чистой да князь Прозоровский.

Показался наконец Алексей Михайлович, все в том же смущенном и возбужденном состоянии духа, в каком вышел из сестриных хором.

– Не взыщите, задержал вас, – сказал он, обращаясь к присутствующим, – чай, проголодались, да и самому есть хочется; пойдете!

Морозов подал знак дежурному стольнику, чтобы подавали ужин, и все вошли в Комнату. Алексей Михайлович, еще не подходя к столу, приблизился к иконам и, опустившись на колени, набожно крестясь и кладя земные поклоны, громко произнес молитву, слова которой за ним повторили и Морозов с товарищами. Потом чинно приблизился к столу, перекрестил свой прибор и сел на лавку.

Несмотря на почти еще детские годы, Алексей Михайлович уже выказывал многие черты характера и привычки, которые впоследствии развились в нем и всегда его отличали. Так, он уже и теперь удивлял приближенных необыкновенным своим благочестием и неизменной аккуратностью. Никакие забавы, никакое утомление не могли отвлечь его от молитвы, и только в самых крайних случаях отступал он от раз заведенного и утвержденного покойными родителями порядка своей повседневной жизни. Никогда не позволял он себе излишества в пище и питье, строго соблюдал все посты, да и во дни скоромные кушал очень умеренно и самые простые яства. И теперь стольник поставил перед ним кусок ржаного хлеба с солью, тарелку с солеными грибами и огурцом и маленькую жареную рыбу. Но прежде чем царь прикоснулся ко всему этому, подошел кравчий и отдал всего по кусочку. Без этой церемонии, по издавна заведенному обычаю, царь не мог приступить к еде. Необходимо было очевидное доказательство, что в кушанье не подмешано никакой отравы или зелья.

Вслед за кушаньями государя стали вносить множество блюд. Тут были всевозможные пироги, заливные, разные тельные, а потом и похлебки. Государь равнодушно взглядывал на каждое из этих кушаний и приказывал ставить их то перед боярином Морозовым, то перед

Назаром Чистым, то перед князем Прозоровским. Большинство же блюд уносилось нетронутыми и поступало в распоряжение дворцовой челяди. Ужин продолжался в глубочайшем молчании; но вот государь насытился и подал знак стоявшему за ним чашнику.

– Государь великий, чего твоей милости угодно? – проговорил чашник.

– А дай-ка мне кваску да меду сладкого, – сказал Алексей Михайлович.

Чашник засуетился, налил из двух кубков, с квасом и медом, немного в ковш, сам попробовал, а кубки поставил перед государем. Собеседники же царские прихлебывали в это время старое заморское вино и то и дело повторяли: «За здравие твое, государь!»

Мало– помалу Алексей Михайлович разговорился.

– Что это, никак, у нас нынче тихо на крыльце постельном? – с улыбкой заметил он. – Видно, никого нету, а то уж наверно ссору бы затеяли.

– Да некому нынче и быть, – ответил Морозов. – День не такой да и поздно.

– А что же вчерашний-то шум? – перебил его Алексей Михайлович, обращаясь к Прозоровскому. – Что такое вышло? Расскажи на милость. Я еще утром хотел спросить тебя, да за сборами в Покровское запамятовал.

Прозоровский поставил на стол свой кубок, вытер усы и бороду и заговорил:

– А дело все то же, что и всегда: схватился князь Евфим Мышецкий с Федором Нащокиным и Иваном Бужениновым... и бьет он теперь челом тебе, государь, и самое-то его челобитье со мною.

– Ну покажи, прочитай зараз уж, а мы послушаем, – сказал Алексей Михайлович и слегка зевнул, закрывая рот своею белой рукою.

Князь Прозоровский вынул из кармана сверток бумаги и начал читать:

– «Бьет челом холоп твой Еуфимка Мышецкий на Федора Васильева сына Нащокина и на Ивана Иванова сына Буженинова, что они нас, холопей твоих, и родителей наших бесчестили; Федор Нащокин называл нас, холопей твоих, всех боярскими и конюховыми детьми на Постельном Крыльце, передо всеми, а Иван Буженинов на Постельном же Крыльце называл меня, холопа твоего, дьяком, а детишек моих подьячими и ворами и подписчиками, будто мы подписывали воровские грамоты»...

– Довольно! – перебил государь. – Известное дело, дальше то же самое, только на лады разные. Уж и как мне все эти ссоры да челобитные надоели! Грызутся люди...

– А вот что, государь, – заметил Морозов, – раз навсегда всех этих молодцов, и старых, и малых, проучить нужно. Привычны они, что как подерутся или погрызутся, так сейчас и к государю, а царь их слова дерзкие и срамные слушай да мири их. Приказать бы, государь, князю Семену Васильевичу (он указал на Прозоровского) да еще кому ведаешь сделать обыск по этому самому делу, а потом повести его по суду: пускай князь Мышецкий ищет судом свое бесчестие.

Царь задумался.

– Ладно ли так? – нерешительно сказал он. – Больно обидится; ведь тут он что пишет? «Родительское бесчестие», говорит, так в делах таких, сам ты, Иваныч, не раз мне сказывал, суда не бывало.

– Точно, обидится, – сказал Назар Чистой, – только на это что же смотреть. Это боярин Борис Иваныч верно молвил, надо бы отучить идти к государю со всякой дрянью... пусть себе обидится князь Мышецкий, невелика важность, зато другой вперед будет обдумчивее.

– Быть по-вашему! – решил Алексей Михайлович и начал вставать из-за стола.

VI

Простясь с Прозоровским, Алексей Михайлович прошел в Крестовую, или моленную, сопровождаемый своими неизменными спутниками Морозовым и Чистым. Очередной священник давно уж поджидал государя в Крестовой и, только что взошел он, начал привычным, монотонным голосом читать вечерние молитвы.

Алексей Михайлович, пройдя на свое постоянное место, сейчас же стал класть земные поклоны и долго потом стоял на коленях на небольшой поклонной колодочке, то есть низенькой скамейке, обитой узорчатым восточным бархатом и обшитой позументом. Никогда никакое утомление или разнообразие дневных впечатлений не мешали ему проводить, перед отходом ко сну, около часу в Крестовой. Он неустанно и благоговейно слушал молитвы и чтение Златоуста – сборника учительных слов, расположенных по дням года.

Он почти всегда умел в этот тихий вечерний час отдаляться от всех земных помыслов и находить неизъяснимое блаженство в горячей молитве. Но теперь что-то мешало ему молиться, как мешало и весь день заниматься обычным делом. Как утром любимая забава вдруг оказалась ему скучною, так и теперь он не мог вникнуть в смысл слов, произносимых священником. Он слышал только его однообразный, несколько гнусливый голос, и этот голос как будто начал даже раздражать его. Его взоры рассеянно бродили по сторонам, и вместо общего впечатления тихой, благотворно действующей на сердце красоты моленной, слабо освещаемой лампадами, он замечал каждый отдельный предмет, и в то же время все эти священные предметы казались теперь ему чем-то чужим, незнакомым и не имеющим никакого значения.

Вот прямо перед ним богатый иконостас в несколько ярусов, занимающий всю стену. Из-за золота и тонкой резьбы в полусвете выделяются лики Спасителя, Богородицы, Крестителя и Угодников. Но они уже не глядят на него как прежде, не глядят прямо в глаза ему с кроткой и благословляющей улыбкой. Они бледны и туманны. Тусклы и бесцветны драгоценные камни, их украшающие; странно и некрасиво как-то висят на них длинные, широкие ленты и пелены, шитые золотом, низанные жемчугом, украшенные драгоценными – мелкими серебряными и золотыми иконами. Причудливые, дикие формы принимают привесы, то есть крестики, серьги, перстни и золотые монеты, украшающие киоты на боковых стенах.

Устали и дрожат колени молодого царя, и поднимается он с бархатной скамейки, и переминается с ноги на ногу – и все силы напрягает, чтобы вслушаться в слова молитвы. Но слова эти по-прежнему, одно за другим, мерно звучат и исчезают. Царь на лету ловит некоторые из них, машинально повторяет – и забывает тотчас же. Его рука привычным движением творит крестное знамение, а взоры опять бродят и останавливаются на богатых золотых ковчежцах, расставленных в углах у самого иконостаса и по всем стенам Крестовой. В этих ковчежцах хранятся смирна, ливан, меры Гроба Господня, свечи воску ярого, выкрашенные зеленою краскою и перевитые сусальным золотом. Свечи эти были зажжены от огня небесного в Иерусалиме, в день Пасхи и погашены вскоре, чтобы хранить их как святыню. Тут же части мощей, зуб святого Антипия, часть камня, павшего с неба, камень от Голгофы, от столпа, у коего Христос мучим был, от того места, где Он молился и говорил: «Отче наш!» – от Гроба Господня, песок реки Иорданской, часть от дуба Мамврийского, финики с того места, где был Моисеев жезл, – и многое множество святынь, присланных в разные времена патриархами или поднесенных царю русскими богомольцами. Рядом с ковчежцами поставлены пузырьки со святою водою и чудотворными монастырскими медами, восковые сосуды с водою реки Иордана.

Бывало, Алексей Михайлович и в неурочные часы дня пробирается тихо в Крестовую и с великим благоговением оглядывает все эти святыни, жарко молится и прикладывается к ним устами, а в мыслях один за другим проходят святыне, сказания Ветхого и Нового Завета. Вспоминаются ему чудные рассказы богомольцев, мечтает он, как поедет ко Святым

местам, как сам зажжет свечу от огня небесного. Но теперь все эти ковчежцы ничего не говорят его сердцу, а между тем бьется и трепещет сердце. И опять то смутное и неведомое чувство, которое весь день его преследует, опять растет оно в нем.

– Помилуй мя Господи, Господи помилуй! – шепчет Алексей Михайлович, содрогаясь. – Что это со мною, бес меня искушает... и где же, когда, в каком месте!...

Дрожь пробегает по телу государя; со страхом оглядывается он, словно думает увидеть за собою беса-искусителя. Но все тихо и мирно в Крестовой. По-прежнему льют свой теплый, неугасимый свет лампы. Набожно кладут земные поклоны Морозов и Чистой в уголку, у входной двери. И так же мерно звучат непонятные ему теперь слова священника. Легкий дымок душистого ладана ходит по Крестовой и пробирается сероватыми струйками по верхам лампад, к самому иконостасу, и еще больше туманит святые лики.

Вот опять нет ничего – исчезают все предметы, откуда-то издалека словно звон доносятся. Что-то белое встает из тумана, какой-то образ... И он яснее, и перед юношей нежный, розовый облик: длинные ресницы глаз опущенных, толстая коса девичья, соскользнувшая с плеч и упавшая на пол... Полные, круглые плечи в дымчатых складках фаты прозрачной – это... Сонюшка?... Нет, не она, что-то далекое, незнакомое и в то же время близкое, дорогое в этом образе – и трепещет сердце, и по жилам пробегает то жар, то холод...

«Государь!» – раздаётся над самым ухом Алексея Михайловича.

Он очнулся: пред ним Морозов зорко и пытливо глядит на него.

Вечерние молитвы кончены, Слово Златоуста прочитано. Священник закрывает книгу – тихо шелкают серебряные застёжки.

Алексей Михайлович, с пылающей головой, с холодными, дрожащими руками, идет приложиться к иконам и не смеет поднять очей на святые лики. Боится он прочесть в них гнев и укоризну.

VII

По выходе царя из Крестовой Назар Чистой дернул Морозова за рукав и шепнул ему:

– Совсем ныне не в себе, и причина тому мне, думаю, ведома. Попомни, боярин, что я говорил тебе наемни. Пора ему невесту – отрок пришел в возраст; не худое это дело. Заведика с ним речь, боярин, и голову руби мне, если сам он тебе не то же скажет. Ну а мне и ко дво-ришку пора, дел много накопилось и час поздний... Прости, государь, – обратился он к Алексею Михайловичу, медленно и задумчиво шедшему перед ними по коридорчикам и переходам дворцовым, слабо освещенным восковыми свечами, усыпанным по полу мелким, просеянным красным песком.

Коридорчики и переходы эти были почти пустынные, только то там, то здесь в уголках виднелись неподвижные фигуры стражников с тускло блестящим при огне оружием.

Алексей Михайлович на мгновение остановился, отдал рассеянный поклон Чистому и взглянул на Морозова.

– А ты не уходи, Борис Иванович, – сказал он ему.

– Зачем уходить, – ответил Морозов с улыбкою, – я тебя, батюшка, коли хочешь, раздену сам, как прежде.

Морозов уже не был дядькой Алексея Михайловича; но молодой царь по привычке часто заставлял его присутствовать при своем отходе ко сну, сажал его у кровати и беседовал с ним, пока не засыпал.

Войдя в опочивальню и заметив ожидавшегося там спальника, царь сказал ему, что он может удалиться, что нынче никого не нужно, кроме Бориса Ивановича.

Спальник низко и молча поклонился государю, с невольною завистью взглянул на Морозова и тихо вышел из опочивальни.

Борис Иванович, привычным взглядом окинув знакомую комнату и убедясь, что все в порядке, подошел к огромной царской кровати, бросившейся в глаза яркой позолотой точечных столбов своих. Он отдернул тяжелые, затканые золотом шелковые занавеси балдахина и высоко взбил подушки.

Алексей Михайлович в это время с усталым и рассеянным видом сидел на низеньком мягком табурете и машинально расстегивал одну за другою пуговицы кафтана. Он поднял глаза на Морозова, замешкавшегося у кровати, и увидел, что тот стоит и качает головою.

– Что ты, Борис Иваныч, али неладное нашел?

– Да так оно и есть, что неладное, – ответил Морозов, разглядывая шитый шелком ворот царской ночной сорочки. – Видно, опять тебе придется меня взять в дядьки. Что за люди! словно глаз нету, ворот-то вон разорвался.

Алексей Михайлович невольно улыбнулся. Ему вспомнилось многое, вспомнились детские годы, и показалось ему, что он и теперь совсем маленький ребенок. Вот добрый дядька его Борис Иванович ворчит, как это всегда с ним бывало...

– Ну полно, боярин, невелика беда, дай другую. Да, ключи-то у Князя Никиты, а его теперь не догонишь...

– Зачем мне князя Никиту, ключи со мною! – проговорил Морозов и пошел к большому кипарисовому сундуку, стоявшему в углу опочивальни.

В этом сундуке хранилось белье царское, и он составлял вещь неприкосновенную, ключи от него должны были храниться у самого доверенного лица, которое, в случае чего, и было в ответе. А ответ не раз случался немалый. Царское белье! – это то же, что еда и питье: мало ли каким способом посредством белья можно нагнать лихо на человека! Сорочку заговорить можно, зельем осыпать, через нее всякую болеть, всякую беду пустить на государя.

Морозов до сих пор не отдавал никому ключей от белья царского и сам выдавал спальникам все, что нужно.

Сорочка вынута. Царь перекрестился, приложился к образу у кровати и начал раздеваться с помощью Морозова. Он с видимым удовольствием погрузился в мягкую перину, вытянулся во всю длину ее, до самого подбородка укрылся стеганым шелковым одеялом и несколько минут лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Мечтательная полуулыбка замерла на розовом красивом лице его. Морозов сложил бережно и аккуратно царское платье.

– Что же, государь, – сказал он, – али уж и заснул?

Алексей Михайлович открыл глаза. Вдруг быстрым движением сбросил с себя одеяло и сел на кровати.

– Нет, я не сплю, Иваныч, и спать не хочу. Все какие-то думы непонятные в голове... Иной раз наяву словно сны снятся. Знаешь, мне сейчас на ум взбрело, хоть глупое оно, а все же на правду похоже. Глянь-ка ты на стол у кровати, что там такое на крышке?

Морозов с недоумением взглянул на стол, хорошо ему знакомый, и ничего на нем не увидел. Это был стол большой и роскошный, весь расписанный по темному дереву травами, с медным, серебряным и перламутровым вставным узором. На середине крышки был круг с орлом двуглавым, а по сторонам две фигуры.

– Ничего на столе нету, что это ты, государь?

– Знамо, на столе ничего нету, – улыбаясь ответил Алексей Михайлович, – да какие такие две фигуры возле орла написаны?

– А это птицы сирины, – сказал Морозов.

– Ну вот об этом-то я тебя и спрашиваю. Намедни Пафнутьич-странник был у меня тут в опочивальне, увидел стол этот и рассказал мне о птицах сиринах. Говорит он, было то в царстве Маврикиево, весь народ вдруг увидел, как в реке Ниле явились два животные человекообразные: до полтела муж и жена, а от полтела птицы – то и были сладкопесивые сирины. И воспели они сладко, и кто слышал их, тот пленялся мыслию и, забыв все, шел за ними и умирал. Вот что рассказал мне Пафнутьич. Правда то, нет ли – сдается вот мне, что иной раз и я сам будто слышу такой глас сирина.

Алексей Михайлович оживлялся все больше, а Морозов его внимательно слушал.

– Нынче ехали мы из Покровского, спрашивал ты меня, Иваныч, что со мною? не болесть ли какая во мне?... Здоров я, а пожалуй, есть и болесть во мне. Иной раз дивное со мной деется; говорю – сирина слышу! Вот и теперь, сейчас будто пение такое сладкое, а где оно – не ведаю... Что это, Иваныч? не опоили ли чем уж?

Морозов покачал головою.

– Ничем тебя не опоили, государь, – сказал он, – мы всегда с тобою, при тебе верные люди, чтобы блюсти твое здоровье. Успокойся, все это пройдет, мало ли что бывает с человеком, а не спится тебе, потолкуем, благо у меня есть о чем и речь держать.

Легкая, лукавая улыбка скользнула по лицу Морозова.

– Ну что? Говори, я слушаю, – медленно произнес Алексей Михайлович, снова опускаясь на подушки. Его оживление пропало.

Морозов придвинул тяжелое кресло к самой кровати, покойно уселся в него, погладил себе бороду и начал:

– Царь-государь Алексей Михайлович, питомец ты мой дорогой! Скоро время идет, и не видишь, не чуешь, как оно проходит; только иной раз, как очнешься да вспомнешь старое – и сколько, сколько прошло его! Давно ли был ты дитя малое, давно ли у меня на коленях еще сиживал, и я тебя величал не государем батюшкой, а Алешей, царевичем своим. Прошло то время – словно в сказке какой; не по дням, а по часам возрос ты, возмужал – и волею Господнею ныне ты царь великой земли русской. И по милости Господа и по нашим грешным молитвам долгие, долгие годы будешь ты царить и править землей Русской. А и к тебе придет старость,

и придет час смертный. И каждый-то из нас – и старец, и юноша – должен помышлять об этом, а ты сугубо помышлять должен, ибо смерть государей может великим быть бедствием для целого народа. Покойный родитель твой, – Морозов перекрестился, – отходя ко Господу, немало печаловался, что оставляет тебя в столь юном возрасте. Разумеешь ли, к чему я речь клоню?

Но Алексей Михайлович еще не разумел. Он только начинал все внимательнее и внимательнее слушать.

– А речь, – продолжал Морозов, – я клоню к тому, что пора тебе, государь, жениться. Раньше женишься, раньше сынок у тебя будет, наследник желанный. Успеешь сам ты его вырастить да внучат дожدهшься. Так ли говорю? По нраву ли речь моя?

Морозов совсем уже теперь улыбался и зорко глядел на юношу. Густая краска залила щеки Алексея Михайловича, он опять сбросил с себя одеяло и приподнялся.

Жениться! До сих пор он и не думал об этом, но теперь это слово показалось ему вдруг таким странным, таким волшебным. Он почувствовал необыкновенное смущение и в то же время радость.

– Жениться! – прошептал он. – Да на ком же, Иваныч?

– На ком? – повторил Морозов. – Я невесту еще не припас тебе, государь. Да за невестой дело не стало: вся земля русская тебе поклонится. По исконному обычаю повели собрать красных девиц со всех мест Русской земли да и выбирай себе любую.

– Да ведь я... я... ведь, пожалуй, бояре смеяться будут, скажут, что я еще не вырос! – робко и смущенно прошептал царь.

– Бояре уже давно толкуют, что тебе пора жениться.

– Ты это правду молвишь? – оживленно спросил Алексей Михайлович и, не дождавшись его ответа, прибавил – Так как же им скажу? Мне как-то неладно да и стыдно сказать, что хочу жениться.

– Чего стыдиться! Святое дело, Божье дело, и не твоя это забота. Коли есть на то твой приказ, государь, так все и будет как следует. Завтра же оповещу бояр о твоём изволении, и отправим мы людей надежных по всем городам земли русской – звать на Москву лучших девиц честных родом, для твоего, для царского выбора. Изволишь ли, государь?

– Да! – прошептал Алексей Михайлович, еще больше краснея и не глядя на Морозова.

Долго не мог заснуть в эту ночь молодой царь под наплывом неясных и сладких грез. Заснул, и во сне ему привиделась чудная птица сирий, и пела та птица сладкогласные песни, и звала его, и манила...

VIII

Недалеко от города Касимова, в большом селе Сытове, на третий день Рождества был торг.

С самого утра широкая улица, еще накануне вся занесенная снегом, но теперь почерневшая, представляла непривычное в селе движение. По обеим сторонам ее были настроены шалаши, где продавались всякие товары, главное: калачи, мясо и пироги, а также холсты, полотна, сукна, зимние полушубки и обувь.

Вокруг этих шалашей толпился люд всякий – крестьяне и крестьянки в праздничных нарядах. На особо устроенном месте были выведены десятка с три лошадей, коров и другой домашней скотины. Здесь женщин уже не было видно: толкались и торговались одни мужчины. Торг часто заканчивался не только крупной бранью, но и сильнейшей потасовкой. В течение одного утра более десятка мужиков были выволочены отсюда по домам все в крови, с вырванными клочьями бород; двое из них уже и померли. Если сделка кончалась мирно, то продавец и покупатель направлялись к стоящему тут же кружечному двору и принимались за хмельное.

Но не одни местные обыватели и соседние крестьяне толкались на торгу в селе Сытове. Среди толпы можно было заметить и стрельцов, и подьячих касимовских, и приказчиков некоторых соседних вотчин. Эти приказчики были на торгу почетными гостями. Встречные им низко кланялись; за ними всегда были целые толпы народа, всячески выражавшего свое почтение.

Торг шел удачно на этот раз: много всякого товара, худого и хорошего, с обманом и без обмана перешло в руки крестьянские. По закоулкам и задворкам, с большой улицы, то и дело направлялись то мужик, то баба с довольными лицами и с покупками в руках.

Зимний морозный денек начинал потухать. На деревенской почерневшей колокольне сытовской церкви ударили к вечерне. Улица опустела и затихла. Даже на конном базаре вели себя сдержаннее; целые толпы направлялись к церкви. Только на дворе кружечном по-прежнему гул стоял. И никакие окрики и затрецины, направо и налево щедро расточаемые руками местной власти, не могли остепенить расходившихся бражников.

Кружечный двор села Сытова с виду ничем не отличался от других изб, только был просторнее, да вокруг него со всех сторон возвышался старый, местами сильно покосившийся и расшатанный забор.

Из длинных закопченных и затоптанных сеней дверь вела в довольно большое помещение с широкой, жарко натопленной теперь печкой и маленьким слюдяным оконцем.

Вокруг всего покоя были расставлены столы и лавки, и здесь-то происходило главное пированье. Духота и грязь были невыносимые, но веселый люд не замечал, по-видимому, этого, и никому в голову не приходило, что обстановка эта безобразна. Все пили, кричали, хохотали, обнимались и ругались: все блаженствовали.

За маленькой дверцей, выглядывавшей в темном углу, из-за печки, был другой покойчик, поменьше первого и несколько чище. Это было помещение для гостей почетных, и в настоящее время тут находился Яков Осина – приказчик большой соседней вотчины, принадлежавшей князю Сонцеву. С ним пировало несколько стрельцов и людей неведомого звания. На широком белом столе был выставлен целый жбан браги. Объемистые кружки быстро наполнялись, почти все пирующие были давно уже навеселе.

Сам Яков Осина, человек средних лет и крепкого сложения, был трезвее других. Он оживленно говорил, и присутствовавшие его внимательно слушали.

– Ну что он мне может сделать? – говорил Осина. – Если бы он был в силе у воеводы, ну тогда, вестимо, опаска нужна, с воеводой нашим шутить не приходится! А то ведь этот самый Раф Всеволодский давно уж хуже горькой редьки надоед воеводе: с поклонами не ездит,

никаких даров пристойных не возит, воевода за него не заступится, это уж верно говорю вам. Ровно и невесть что задумали, не впервой ведь, сколько раз с рук сходило!

– Да что ж, мы ведь ничего! Оно точно, дело не трудное, – разом заметило несколько голосов.

– Так чего ж вы мнетесь? – крикнул Осина.

– А то, что было бы зачем затевать дело, – проговорил высокий стрелецкий пятидесятник. – Зря тоже собираться нечего. Знаем мы Рафа-то, какие у него достатки, усадьбишка плохонькая, да и все именишко выеденного яйца не стоит.

– Ну нет, этого ты не говори! – перебил его Осина. – Раф старик хитрый, он это только так сиротой прикидывается перед воеводой, а сам тоже немало всякого добра накопил, я это доподлинно знаю. Порыться у него в сундучишках, так и то, и другое найдется: на всех хватит.

– Коли делить как следует, оно, пожалуй, и хватит, – сказал юркий безобразный маленький старик, отставной подьячий Прохор Бесчастный, единственное занятие которого теперь состояло в том, что он переезжал с торгов на торги, из города в город и высматривал себе какую ни на есть наживу. – Оно, пожалуй, и хватит, коли делить как следует, – повторил он. – Да знаем мы тебя, Яков Иваныч, ты вот нас задабриваешь всякими посулами, дело-то мы сделаем, а потом и потянешь себе, так много ли на нас-то всех останется?

Осина из-под насупленных бровей кинул на него злобный взгляд.

– Ты бы уж молчал, старая ворона, – проговорил он. – Кабы не язык твой аршинный да кляузный, так тебе бы совсем и не место с нами, ну что ты за помощник? Какая в тебе сила? что ты можешь сделать? А вот что я вам скажу, братцы, – обратился он к собранию, – наперед говорю вам, и мое слово верно: что бы там у Рафа или у крестьян его вы нынче ни нашли, все ваше, себе не возьму ни полушки! Я не из-за корысти, я дело начистоту веду, мне не добро его нужно!

– А чего тебе нужно? – прошамкал отставной подьячий. – Али девка какая у Рафа приглянулась?

– Ну да уж это мое дело! – сказал Осина.

Несколько мгновений продолжалось молчание, только кружки наполнялись и осушались. Очевидно, хоть и значительно охмелевшие, но все же еще не потерявшие сознания собеседники обдумывали предложение Осины.

В этом предложении не было ровно ничего необыкновенного и неожиданного: он подбивал стрельцов и всякий сброд, целый день толпившийся за ним на торгу, довершить нынешний день нападением на усадьбу и поместье соседнего дворянина Рафа Всеволодского. Такие набеги в то время случались часто; по всем городам воеводы были завалены жалобами и челобитными; на всем пространстве русского государства производился разбой в самых ужасающих размерах. Все разбойничали – и помещики со своей челядью, и приказчики боярских, княжеских имений с крестьянами, и ратные люди – стрельцы.

Наедет какой-нибудь приказчик, вроде Осины, на торг, да и не то что в селе, а даже и в городе, за ним крестьяне и всякие люди вооруженные, и начнут они колотить до полусмерти, а то и до смерти посадских людишек; шалаши поломают, товар в грязь втопчут; ограбят дочиста; людей перебьют и разгонят; жен и дочерей их опозорят; всякие животы убьют или возьмут с собою и уедут. Пойдет жалоба воеводе, дело ясное, доказанное, свидетелей сколько угодно; но в большинстве случаев ни к чему не приводит жалоба. Зачастую воевода и сам погрееет руки на этом деле, получит из него свою долю немалую и не выдаст разбойников. А уж на воеводу кому пойдет жаловаться бедный захудалый мирской человек? Так и терпят русские города, посады и селения, терпят разор конечный, всякую обиду; дрожит русский люд за добро свое, годами, трудом и потом накопленное, дрожит за честь свою семейную, за жен и дочерей своих, дрожит за жизнь свою... Далеко ушли времена татарского ига, неожиданных и беспощадных набегов степных хищников. Прошли и другие недавние времена, времена смуты и самозванщины;

тишина видимая водворилась в государстве, но ненамного лучше стало русскому люду. Терпит он беды несносные, нестерпимые; но велико его терпенье – и, все терпя, все вынося, обливаясь потом и кровью, ждет он своего избавителя. . .

Набег на усадьбу небогатого касимовского дворянина не страшен сотрапезникам Якова Осины, все дело для них в том, стоит ли тревожиться. Но Осина говорит, что у Рафа Всеволодского есть и добро припрятанное, а Осина хитер, он все знает, все сумеет пронюхать, где что творится по соседству.

– Да что ж, отчего не идти? Пойдем! – сказал, наконец, один из стрельцов, почесывая себе голову.

– Да уж ладно, ладно! – подхватил другой.

Яркая краска залила лицо Осины, глаза его сверкнули. Он глубоко вздохнул всею грудью.

– Ну вот, давно бы так-то! – веселым голосом крикнул он. – А я опять-таки свое слово повторяю: ничего не трону из добычи. И потом все ко мне на двор, угощу на славу.

– Смотри, помни! – погрозил ему пальцем Бесчастный.

Осина внимательно оглядел товарищей. Двое-трое из них были уже совсем пьяны, других тоже, очевидно, хмель разбирал.

«Упьются, ничего не выйдет! – подумал он и решил больше не давать им вина. – Да ничего, еще будет время, поднять их нужно, на морозе вытрезвятся».

И он заговорил, что нужно сейчас, не мешкая, все решить, приготовиться, чтобы не упустить времени. А бражничать пока надо оставить – как в карманах добро будет, так и хмель выйдет веселее.

С его мнением согласились и тут же порешили собраться в конце села и там уж дожидаться его, Осины, который и поведет их.

– Сколько же вас всех будет? – спросил приказчик.

– Да человек с тридцать наберется.

– Ладно, с таким войском не токмо к Рафу, а и к касимовскому воеводе идти! – потирая себе руки и даже обливаясь от предвкушения добычи, шамкал беззубым ртом отставной подьячий.

– Ах ты атаман, атаман! – презрительно покачал на него головою Осина и стал до ночи прощаться с товарищами.

Скоро все они, покачиваясь и переругиваясь между собою, выбрались в сени, а оттуда через двор и на широкую сельскую улицу.

Совсем уже стемнело; на небе высыпали звезды и загорелись и заискрились в морозном воздухе. На краю горизонта, за бесконечными снежными полями, готов был показаться месяц.

«Ночь будет светлая, мигом доберемся до Рафа, – подумал Осина, проводив товарищей и остановившись среди улицы. – Ну, Рафушка, друг старый, пришел, видно, и мой день, все тебе нынче вспомнится, вспомнится и твоя оплеуха, что до сих пор словно еще горит на лице. А!... я холоп, я пес недостойный, а ты дворянин. Я приказчик, а ты помещик...»

– А!... Сударь Рафушка, поплачешь ты нынче над своей доченькой, век не забудешь Якова Осину! – почти громко выговорил княжий приказчик и медленно пошел по темной пустешей улице.

IX

Месяц поднялся из-за леса и серебром залил снежные поля. Легкий мороз стоял в воздухе. Гул села Сытова замирал в отдалении. По малонаезженной, извивавшейся между снежными сугробами дороге весело скользили легкие санки. Бойкая лошадка, нарядно разукрашенная разноцветными суконными покрывками, с привешенными к их концам бубенчиками, бежала без помощи кнута.

Бубенчики звенели в тихом прозрачном воздухе; громкий молодой голос выводил разудалую песню. В саночках сидели два молодых человека: Андрей Рафович Всеволодский да товарищ его и друг закадычный, Дмитрий Исаевич Суханов.

Оба они недавно и из детских-то лет вышли; первый пух покрывает их здоровые, румяные лица. На душе у них привольно и весело, и эта ясная, морозная ночь только еще больше поддает удалю.

Они тоже весь день провели на торгу в Сытове и теперь возвращаются домой. Суханов гостит на праздниках у Всеволодского, да и сам он здешний: вотчина его неподалеку, всего верстах в двадцати каких-нибудь.

Отправляясь в это утро с другом Андрюшей на торг, Суханов был не в духе – ему не хотелось ехать; и он уступил только настоятельной просьбе молодого Всеволодского. Весь день он равнодушно относился к окружавшей его толкотне и веселью, отказался попить с молодыми знакомцами-соседями, зазывавшими его в свою компанию. Видно, веселье его было не здесь, а в другом месте. Только когда ему удалось под вечер отыскать Всеволодского и уговорить его немедленно ехать домой, он совсем преобразился. Тоски и скуки как не бывало: поет он себе, заливаясь, будто всю душу молодецкую хочет вылить в этой песне.

Андрей тоже весел.

– Да полно ты, чего орешь, перестань! – говорит он, толкая под бок приятеля.

– А что, разве худо? – отвечает Суханов, прерывая песню на высокой, словно жемчуг рассыпавшейся в воздухе ноте. – Нет, брат, это славная песня. Как услышу ее али запою, ажно за душу хватает!

– Песня-то хороша, только, видишь ли, хотел я что сказать тебе, Митюша: заметил ли ты у обедни девушку в алом червленом шугае, что стояла недалеко от нас по левую руку?

– Как же, брат, заметил – ты на нее всю обедню молился.

– Хороша? А, скажи, хороша? Видал ты когда-нибудь такую красавицу?

– Видал и получше. Недалеко ходить, твоя сестра Фима не в пример лучше ее будет, – проговорил Суханов и неизвестно почему изо всей силы хлестнул лошадку.

Лошадка брыкнула, взметнула целый ком снега прямо в лицо молодым людям и помчалась по белой дороге, только полозья санок закрипели.

– Нет, что сестра! – медленно рассуждал Андрей. – Да я про сестру и не говорю. Мне до сестриной красоты что за дело, а уж эта девушка – Господи! век ее не забуду. Вот я и хотел поговорить с тобою. Думаешь, где я весь день пробыл? Не по улице шатался, а все как есть доподлинно узнал: кто она, откуда, и теперь, что там ни говори родитель, хоть бранись, хоть нет, а частенько я буду навещать в Касимов. Слышь ты, касимовская она дворянка, сиротка. То есть мать-то есть у ней, а отец года три как помер, и на торг она приезжала с сестрой замужней да с зятем... я и свел знакомство. Машей зовут ее... Барашева Маша... Они тут все у сытовского батюшки, отца Николая, остановились, ну и я пошел туда же. Попадья кулебякой потчевала. Вот и разговорились и завели знакомство. Ах, Митя, Митя, голубчик, что за день нынче для меня праздничный да радостный, с этого вот дня ровно жить начал!

Дмитрий взглянул в лицо товарища, освещенное луною, и улыбнулся.

– Али и впрямь так полюбилась эта Маша? – проговорил он. – Ишь, глаза у тебя такие чудные, будто ты совсем другой на меня смотришь.

– Уж так-то полюбилась, так-то полюбилась – и сказать тебе не могу! – отвечал приятель. – Одно знаю, как бы там ни случилось, а быть ей моей женой. Будешь ты скоро пировать на моей свадьбе!

– Ну да что ж, дай тебе Бог! – вымолвил Дмитрий и опять хлестнул лошадку.

Он, очевидно, хотел сказать еще что-то, но остановился. Его веселье снова как будто замерло, снова будто повеяло на него тоской и грустью.

Всеволодский пристально взглянул ему в лицо и улыбнулся.

– Эх, Митя, – сказал он, – а ведь ладно было бы в один день да две свадьбы: ты с Фимой, а я с Машей. То-то бы!

– Твоими устами да мед пить, – прошептал Суханов. – Во сне вот мне все снится такое счастье, а наяву ему я и не верю. Не любит меня Фима, чует сердце мое, не любит, а силком не возьму за себя.

И голос оборвался, и замолчал он, низко опустив голову.

– Пустое, Митя, пустое! – ободрительно крикнул Андрей и хлопнул его по плечу. – Бог тебя знает, ты уж такой уродился, только смущаешь себя, выдумываешь себе беды. И с чего это взял ты, что Фима тебя не любит? Да она, я так полагаю, сама еще понять ничего не может: любит ли, не любит ли, – совсем еще ребенок малый.

– Ребенок!... Ей, поди, уж полгода шестнадцать лет минуло.

– А вот увидим, – опять весело крикнул Андрей, – увидим, и помяни мое слово: не успеет снег растаять, быть нашим двум свадьбам.

Суханов не отвечал, но счастье и уверенность приятеля подействовали на него ободрительно, да и молодость, полная здоровых сил, заговорила. Темные мысли, темные предчувствия сменились снова надеждой. Предвкушение счастья заставило горячо биться его сердце. Он глянул кругом себя – и белые поля, переливающиеся голубым и серебряным отблеском, и яркая луна, и бесчисленные, едва заметные в ее свете звезды, вся ширь и тишина зимней ночи – все это будто спешило ему навстречу, ласкалось к его сердцу и сулило ему что-то неразгаданное, волшебное и блаженное.

Снова звуки запросились из груди его, и он, вдохнув в себя свежий морозный воздух, запел веселую, счастливую песню. Дорога поворотила направо, промелькнул лесочек, деревья которого стояли будто хрустальные, все покрытые инеем. Вот поблизости звонким лаем залились собаки. Молодые люди въехали в усадьбу Рафа Всеволодского.

Х

Не обширны владения Рафа Родионовича Всеволодского, не много деревень и всяких полевых и лесных угодий наследовал он от своих предков, не в роскошных палатах, не среди многочисленных холопов и челядинцев живет он, а в укромном домике, бревенчатые стены которого от старости уже начинают клониться на сторону. Всего у него одна деревенька, тут же за леском, недалеко от усадьбы. Во дворе и десятка прислуги не наберется. Живет он в своем уголку тихо, неслышно; но все же имя его известно всем и каждому на сотни верст в округности, и иного богача боярина так не знают и не почитают, как знают и почитают Рафа Родионовича Всеволодского.

Давно уже, поболее четверти века будет, безвыездно поселился он в своей касимовской вотчине. Зазнали его соседи молодым воином, отслужившим ратную службу, знатно порубившим ляхов и всяких воров, наводнявших Русь в смутное ее время, а теперь Раф Родионович уже почти старцем сделался; серебром подернулись его русые кудри, согнулся крепкий стан его. Только все по-прежнему зорко и ясно глядят очи Рафа Родионовича, да из-под усов нависших мелькает прежняя благодушная улыбка.

В первый же год по своем переселении Всеволодский женился на дочери одного из ближних соседей и в неизменном согласии живет со своею женою Настасьей Филипповной. Было у них детей шестеро, да старшие волею Божьею померли еще в малолетстве; остался только сын Андрей и младшая дочка Евфимия.

Хороший хозяин Раф Родионович: окольные дворяне-помещики не могут надивиться его мудрости. Что до него было и что при нем стало! У других всякие невзгоды да беды – хлеб дурно уродится, сено от дождей погниет, к зиме недостатки, бедствие, а у Рафа Родионовича все амбары полны: зерно к зерну, трава вовремя скошена, сено сухое, душистое, пчелы роятся видимо-невидимо, мед его в Касимове торговцы с руками отнимают – лучше, говорят, этого меду и найти невозможно.

Зависть разбирает соседей при виде такой удачи, только знают они, что грешно завидовать Рафу Родионовичу – все ему дается по трудам его великим, и к тому же над ним видимое благословение Божие за жизнь его правую и богобоязненную, за сердце его доброе, к чужой беде отзывчивое. Да, рук не покладая трудится разумный хозяин. В летнюю пору уж не ищи его в усадьбе: до зари проснется, сам осмотрит каждую скотину, раздаст приказания работникам, и в поле. Все свое владение осмотрит хозяйским глазом; у него чуть ли не каждый колос наперечет. И привольно ему дышится под знойным солнцем, среди колыхающейся желтеющей ржи, или на пасеке, в душистой гуще леса. Здесь он у себя дома, и чудится ему порою, что весь этот мир Божий, каждый кустик, каждая былинка его знают и встречают немим приветом. И уж особенно на пасеке ему раздолье; пчелы – его любимое, сердечное дело. В ведренные дни и обедать не возвращается домой Раф Родионович. Истомится в поле на работах, доберется к своим ульям и пошлет старика пасечника в усадьбу сказать жене, чтобы обедать ему прислала, да и сама с детками пожаловала откушать медку свежего.

А то случалось и так, что он, придя на пасеку, заставал уже там и Настасью Филипповну, и деток, и обед готовый. Сюда же сходились зачастую и соседи ближние и дальние, которым было дело до Рафа Родионовича. Хозяин всегда встречал их радушно, просил разделить с ним трапезу: а уже потом, мол, и о деле поговорим – разговор-то выйдет лучше, чем на тощий желудок. Сидит себе Раф Родионович, кушает с удовольствием и поглядывает на соседа: он и без слов видит, какое такое у него дело.

А дела бывают разные. Один пришел в нужде великой: прошлогодний неурожай погубил совсем, ни хлеба, ни зерна – изворотиться нечем. Раф Родионович поможет, иной раз последним поделится.

Другому не нужно ни хлеба, ни леса – у него спор великий с соседом вышел, разобидели друг друга, разругались на чем свет стоит, и такова взаимная обида, что вот-вот поножовщина у них выйдет. Как тут быть? Одно остается – идти на суд к Рафу Родионовичу. Он человек правый, рассудит по-божески. И идут два врага к небогатому дворянину Всеволодскому, идут помимо воеводы и облеченных властью судей, кланяются ему в ноги, рассказывают свои обиды.

В таких случаях Раф Родионович совсем преображался. Добродушное лицо его делалось важным и строгим; он выслушивал спокойно ту и другую сторону и потом несколько мгновений сидел молча, опустив голову. Но вот он поднимается, глаза его снова сияют, на устах опять светлая улыбка. Он берет врагов за руки.

– Вот то-то, люди вы! – говорит он. – Ну из-за чего муки себе всякие выдумываете? Неразумным малолеткам, тем пристало дразниться да на кулачки идти из-за всякой малости, а вы, смотрите, седина ведь в волосах, а что задумали! Жили годы дружно и мирно и вдруг врагу-дьяволу подчинились! А он-то и радуется! Вестимо дело, исконный супостат всякому миру и тишине... Одумайтесь, Бога вспомните... «несите тяготы друг друга» – великое это слово, и николи не след забывать его...

И долго говорит Раф Родионович, говорит так тихо и спокойно и в то же время с такой любовью и грустью, что мало-помалу сердца противников смиряются, и уже не мечут они злобных взоров, не слышно прежнего раздражения в их голосе. Взгляд на дело Рафа Родионовича сообщается и им, и они покорно повторяют ему: «Что же, мы ничего... вестимо... до сей поры промеж нас ничего такого не было... рассуди, Раф Родионович, как рассудишь, так оно и будет! ...»

Он рассудит их дела, найдет, кто прав, кто виноват. Если один сосед у другого присвоил незаконно землю или угодье какое – скажет он, что беспрременно возвратить нужно, – и присвоивший клянется возвратить. Враги мирятся, лобызаются искренно и, кланяясь в пояс судье своему, возвращаются домой успокоенные и довольные.

Случается также, что Раф Родионович вмешивается в дела еще более трудные, в такие дела, которых человеку и судить-то почти невозможно: жена на мужа ему жалуется, а то и сам он видит чью-либо жестокость и не в силах стерпеть этого. В таких случаях он отправляется и без зова к соседу и очень часто успевает добрым да разумным словом, спокойным взглядом на дело вернуть нарушенный мир в семействе, утишить гнев жестокого мужа.

И с каждым годом растет добрая слава старика Всеволодского, и нет такой дворянской семьи в соседстве, где его имя не произносилось бы с уважением.

Но, уважая и прославляя Рафа Родионовича, не забывали добрые соседи и его Настасью Филипповну. «Вот так семейка благодатная! – говорят. – Святые люди – дай Бог им всякого счастья... Вот так бы привелось и всем век прожить друг с другом, как живут Раф Родионыч да Настасья Филипповна...»

И действительно, в двадцать пять лет семейной жизни мало было темных дней у Всеволодских. Кругом поглядишь, и невесть что творится: иные мужья жен побоями в гроб вгоняют, пьянствуют и бесчинствуют, а то и жены мужей добрых да смирных едят поедом. У Всеволодских не то – ни криков, ни брани, ни драки. Вечно ласка да любовь. И в этом заслуга больше со стороны Настасьи Филипповны. Раф Родионович хоть человек и справедливый, добрый христианин, но и у него подчас нрав крутенок. Он знает себя хозяином в своем доме, слово его закон; противоречий не любит. Попадись ему жена другая – он бы, пожалуй, за неразумность и побил исправно – человек в гневе сам себя не помнит. Только до гнева Настасья Филипповна его никогда не доводила – сразу, с первого же дня замужества сумела она понять его, отлично знала, по одной ей ведомым приметам, в какой день и час можно и поперечить мужу, а в какой следует беспрекословно творить его волю.

XI

И в детях были счастливы Всеволодские – на радость и на утешение им выросли Андрей и Фима.

Недаром вздыхал по Фиме молодой Суханов – молва о красоте дочки Рафа Родионовича разносилась далеко; старики говорили, что и не запомнят такой красавицы. Ей только что шестнадцать лет исполнилось, но она была уже совсем развившаяся, стройная и высокая девушка. Каждому было любо глядеть на лицо ее белое да румяное, вечно озаренное беззаботной улыбкой, каждому как-то светлее на душе становилось от взгляда ее глаз, глубоких и нежных, окаймленных длинными, темными ресницами. Но еще краше, еще милее делалась Фима, когда звонкий, детский смех оживлял все существо ее. А смеялась она часто, потому что вся жизнь ее была полна радости и веселья. Несмотря на стыдливый румянец, порою вспыхивающий уже на щеках ее, несмотря на густую светло-русую косу по колена да на высокую грудь девичью – Фима во многом была еще совсем ребенком. Для нее еще не начался тот период жизни, когда весь мир представляется совсем не таким, каков он в действительности, а то беспричинно грустным, то беспричинно блаженным.

Фима просыпалась каждое утро с ощущением свежести, силы и неопределенного, но доброго и широкого чувства, которое сейчас же выражалось в ее смехе, в ее ласках, расточаемых ею всем, начиная с ее отца, матери, старой няни Пафнутьевны и кончая последней дворовой собакой. Если время было летнее и погожее, Фима бежала в поле, в лес, за васильками, за грибами и ягодами. Ее ноги не знали устали, она не могла успокоиться, пока не обегает всех отцовских владений. На каждом шагу новый предмет для ее наблюдений и радости: то новое птичье гнездышко, о поспевшие ягоды, которые вчера еще были совсем зелеными, то невиданная, диковинная букашка. Бродит себе Фима, оглашая лес звонкой песнью, а то вдруг останавливается, долго глядит вокруг себя – и даже всплеснет руками: так все чудно, так благодатно устроено Господом Богом.

Подруг у Фимы не было, но было два добрых товарища: брат Андрей да Митя Суханов. Росли они вместе, вместе и забавлялись. Летом еще мальчики от нее как-то отбивались – у них были свои потехи: рыбная ловля, всякая охота лесная; но зато зимою Фима почти не расставалась с ними. Митя делал для нее салазки, катал ее с горы ледяной, а по вечерам забирались они к Пафнутьевне на теплую лежанку, и старуха сказывала им сказки. Это было самое блаженное время для Фимы – ждет не дождется она вечера. В тепле и полусвете, среди тишины невозмутимой, пестрые, причудливые картины вырастают и уносят Фиму в заколдованный мир свой. Кончены сказки, она уже в мягкой постели, но мир этот продолжает жить вокруг и часто преследует ее в ночных грезах...

Проходили годы, вырастала Фима; но все еще медлило оставлять ее детство, хоть порою она и начинала чувствовать что-то новое, какие-то неясные вопросы. А между тем соседи стали почитать ее невестой, и красота ее даже вышла причиной большой обиды, нанесенной Рафу Родионовичу.

Как ни велика была добрая слава старика Всеволодского, как ни много было у него друзей и почитателей, а все же и враги отыскались. К числу таких врагов принадлежали, между прочим, касимовский воевода Обручев да почти все дьяки и подьячие. Все это начальство привыкло всячески обижать небогатых помещиков, обирать их по возможности; привыкло видеть, что эти помещики беспрекословно подчиняются такому обиранию, да еще и кланяются в пояс. Ну а у Рафа голова была непреклонная, да и обирать его оказывалось трудным: за свое добро он стоял сколько сил хватало. Вот и начались у него вечные неприятности с касимовским воеводой и дьяками: готовы они все были сжить его со света, да не к чему придраться – жалоб на него никаких не поступало, в каждом деле он вел себя осмотрительно и разумно. Но нигде,

ни в Касимове, ни в иных местах, не было у Рафа Родионовича такого кровного врага, как приказчик князя Сонцева Яков Осина.

Обширные вотчины князя находились недалеко от усадьбы Всеволодского.

Осина, сумевший обойти и воеводу, и всех влиятельных людей Касимова, пользовался немалым почетом: все позабыли о его худородстве. Да и сам Раф Родионович в первое время, то есть года два тому назад, принимал его у себя как равного и даже любил с ним беседовать. Он видел в нем человека умного и ловкого, понимавшего толк в хозяйстве, умевшего подчас и развеселить любопытными рассказами из своей полной приключений жизни. Даже дружба было завязалась между Всеволодским и Осиной. Но с год тому будет времени, как настал конец этой дружбе, и превратилась она во вражду лютую.

Случилось это по тому поводу, что Осина, давно уж зорко присматривавшийся к быстро выраставшей и хорошевшей Фиме, вдруг попросил у Всеволодского руки его дочери.

Раф Родионович ушам своим не поверил и молча сидел перед Осиной, во все глаза глядя на него и не находя слов для ответа. Осина был человек лет за сорок, с некрасивым и неприятным красным лицом. Фима была красавица, и ей в то время еще и шестнадцати лет не исполнилось.

Но дело не в разнице лет, не в жениховом безобразии – с лица не воду пить, а сорок лет, что еще за старость для мужчины! Дело в том, что Фима дочь хоть и небогатого, но столбового дворянина, а Осина – холоп княжеский, только сумевший завладеть доверием своего господина и возведенный им на всеильную должность приказчика.

Долго не мог опомниться Раф Родионович; наконец вся кровь ударила ему в голову...

Они в это время сидели за столом после трапезы и были одни – одинешеньки в горнице.

Отшвырнул от себя скамью Раф Родионович и во весь рост поднялся перед Осиной.

– Что ты сказал? повтори! – произнес он упавшим голосом.

Осина вздрогнул, изумленно и опасливо взглянул на лицо Всеволодского, но выговорил твердым голосом:

– Что ж я сказал? Али ты не расслышал, государь Раф Родионович? Надоела мне холостая жизнь моя, завести добрую хозяйку хочется, так вот и прошу тебя, отдай мне свою доченьку, Евфимию Рафовну... Я ее покоить и лелеять буду – она мне пришлась по мыслям...

– Холоп! – закричал Всеволодский так, что дрогнули бревенчатые стены. – Я тебя в дом к себе принимал, я с тобой из одного ковша пил. Я беседу с тобой вел как с человеком, а ты вот что задумал! Да как тебя нелегкая надоумила сказать такое слово? Кто ты – и кто я... и кто дочь моя?

Осина тоже поднялся.

Красное лицо его сделалось совсем багровым, рот перекосялся.

– Кто ты и кто я? – прошипел он. – Ты почти нищий, вон домишко-то твой еле держится, по углам дырья: кулак пройти может, а я... у меня сундуки от добра ломаются. Передо мною – вон касимовский воевода шапку ломает, дружком меня своим величает, так я очень помню – кто ты и кто я! Да и ты не кичись своим дворянством. Пожалел я твою девку, вижу: бедная, скоро совсем мерзнуть будет в твоей дрянной лачуге...

Он хотел говорить еще, но ему не удалось этого. Раф Родионович, опрокинув тяжелый дубовый стол, схватил Осину одной рукой за шиворот, а другою, развернувшись, изо всей силы ударил его по щеке.

– Вот, собака! – крикнул он и так толкнул оторопевшего Осину, что тот ударился о прилоку.

Едва успев захватить свою шапку, приказчик выскочил из горницы.

– Попомнишь ты это, попомнишь! – шептал он, стуча зубами и опрометью бросаясь к дожидавшейся его тележке.

Сразу отплатить Всеволодскому он не мог, ему нужно было хорошенько обдумать мщение. Наконец он его обдумал.

XII

Сдав лошадь встретившему их у ворот молодцу, Андрей Всеволодский и Суханов, весело разговаривая, пошли в домик. Пройдя темные сени, они отворили тяжелую скрипучую дверь и очутились в просторном покое; здесь их уже дожидался ужин, и все семейство было в сборе. Молодые люди набожно помолились перед иконами и стали здороваться.

– Эх вы, шатуны! – сдерживая улыбку и будто бы сердясь, молвил Раф Родионович, подвигаясь на лавке и давая возле себя место прибывшим. – Сказали, засветло беспременно домой будете, а сами на ночь глядя вернулись... Ты, Андрей, не бери пример с Мити – на того нет ни суда, ни расправы, я ему чужой, а отца с матерью Господь прибрал до времени...

– Я, Раф Родионович, всегда твоего слова послушаюсь, – перебил Суханов, – ты мне заместо отца родного, так уж если бранишь Андрея, брани и меня – мы вместе.

– Ну ладно, ладно, – сказал Всеволодский, опуская свою деревянную ложку в миску с жирной похлебкой, – есть вот хочу, бранить-то мне вас некогда.

Андрей начал было рассказывать про торг, но отец перебил его:

– Да ты поешь сперва, потом Богу помолись, поблагодари Его за питье и яство, а затем уж и выкладывай свои рассказы.

Андрей замолчал и принялся ужинать, но ни он, ни его приятель на этот раз не выказывали большого аппетита.

– Видно, в Сытове дня на три наелись, – заметила Настасья Филипповна.

Они ничего не ответили, так оба были заняты своими мыслями.

Андрей не мог позабыть новую знакомку; ему казалось, что он все еще видит ее, слышит ее голос.

А Дмитрий Суханов, то вспыхивая, то бледнея, поглядывал на Фиму он замечал, что и ей хочется подойти к ним поближе, поболтать, посмеяться и что она сдерживается только во время ужина, боясь разгневать отца.

Но вот незатейливый ужин покончен, все встали из-за стола, помолились. Андрей выложил свои гостинцы сестре: мешочек со сладостями да яркую ленту в косу. Фима благодарит его, смеется, раскраснелась...

– А я и впрямь думала: уж не напали ли воры на вас али звери в лесу! – говорит она своим певучим голосом, обращаясь к Дмитрию. – Легко ли, чуть свет выехали – и до ночи. Право, весь день тоска такая, на дворе вон гора ледяная, а покатать-то и некому...

Суханов чуть не плачет от слов этих. Весь день мог провести с нею, с горы катать ее! И зачем это послушался Андрея, как тень шатался в Сытове.

Между тем Раф Родионович расспрашивает сына, кого он видел на торгу и что там было. Андрей начинает заминаться, потому что весь день только и видел, что Машу Барашеву, а остального почти и не приметил!

«Нужно выручить друга!»

Суханов отходит от Фимы и подсаживается к хозяину. Теперь уж не Андрей, а он отвечает на расспросы Рафа Родионовича, и Андрей благодарит его взглядом.

– Ты говоришь, больше десятка до смерти избиты? – со вздохом переспрашивает старик Всеволодский, выслушав рассказ Дмитрия.

– Да, пожалуй, и больше счесть можно, особливо к вечеру.

– Ну да, ну да! – тихо повторяет Раф Родионович. – Все то же пьянство, совсем ныне спился народ, а кто сам не спился, того добрые люди спаивают; за чарку хмельного на разбой, на душегубство идти готовы! Вон наемный сосед приезжал, сказывал: опять по нашим местам шалить стали – целые деревни разоряют, и никто не заступится. Воеводы наши... ну да уж что

тут и говорить, авось Господь наконец и пошлет избавление нам, умудрит царя-батюшку, все зло наше лютое сделает ему ведомым...

Старик Всеволодский совсем расстроил себя мрачными мыслями и, простясь с домочадцами, ушел в свою опочивальню. Настасья Филипповна вышла тоже зачем-то по хозяйству. Андрей взглянул на сестру, потом на Суханова и тряхнул головою.

– Пойти-ка на конюшню, посмотреть: задан ли корм Бурке, – проговорил он.

Дмитрий слышал его шаги в сенях, слышал потом, как хлопнула наружная дверь. Он остался вдвоем с Фимой, он глядел на нее не отрываясь, точно видел ее в первый раз, и тоскливо становилось у него на сердце. Она не глядит на него, видно – все равно ей, здесь он или нет. Крепко, всей грудью вздохнул Дмитрий и опустил голову.

– Что это ты, Митрий Исаич? чего вздыхаешь? – тихо проговорила Фима.

– А чего же радоваться? – вдруг с волнением начал он, подходя к ней. – Гляжу вот я на тебя, ты ли это? бывало, вспомни сама, говорила: ждешь меня не дожدهшься, – а теперь и глазком на меня взглянуть не хочешь, теперь я тебе не Митя, а Митрий Исаич...

Он проговорил это с такою тоскою, что у самой Фимы защемило сердце, ей вдруг стало жалко Дмитрия, хотя она и не понимала ни его тоски, ни своей к нему жалости.

– Прости, коли я чем огорчила тебя, – сказала она, тоже приподнимаясь, – только уж и не знаю, чем это я тебя огорчила, а что Митрием Исаичем назвала, так ведь вишь ты какой вырос, вон и усы у тебя, и борода..., Да ну ладно, ну Митя...

И она улыбалась ему, ее глаза ласкали его долгим и нежным взглядом, но она не могла прочесть в лице его прежнего веселья. Грустным и бледным стоял он перед ней, стоял таким жалким.

– Да что это ты, право?! – испуганно сказала она, кладя ему на плечо свою руку. – Али там, на торгу, тебя испортили? Ну, Митя, поздно, спать пора – чай, Пафнутьевна ждет меня. Спи спокойно, а утром, смотри, проснись не таким, какой нынче, такого я и видеть не хочу. Завтра с гор кататься... слышишь, Митя, непременно!...

Он хотел сказать что-то, но не мог. Ему казалось, что никогда еще она не была так хороша, как в этот вечер, и никогда еще так не любил он ее.

– Спокойной ночи, Митя! – повторила она, быстрым движением нагнула к себе его голову, крепко поцеловала его и скрылась.

Несколько мгновений он стоял не шевелясь, с блаженным лицом и затуманившимися глазами. Что-то мучительное и в то же время отрадное стало подниматься в груди его, дышать становилось тяжело от этого нежданного и неизжданного блаженства. Дмитрий бессильно опустился на скамью и вдруг зарыдал неудержимо и не сознавая, что он громко рыдает.

По счастью, Раф Родионович крепко спал в соседней горенке и ничего не слышал.

– Полоумный! Что ты? – над самым ухом Суханова раздался голос Андрея.

– Ах, кабы знал да ведал ты – радостно у меня на сердце, Андрюша!...

Внучек мамки Пафнутьевны, приставленный ходить за Андреем Рафычем, принес перины, подушки, одеяла и устроил на скамьях под образами две постели молодым людям. Отдельной горницы для сына не было в доме Всеволодского.

Андрею и Дмитрию хотелось бы подольше побеседовать, но они боялись разбудить Рафа Родионовича, который и так что-то кряхтеть стал за тонкой стеною, потому они тотчас же разделись, улеглись на перины и замолчали.

Тихий свет лампы у киота едва освещал просторную горницу с дубовым столом посредине, с большой изразцовой печью в углу, с единственным и теперь совсем заледенелым окном. За печью трещал сверчок, и эти монотонные звуки мало-помалу навели дремоту на Андрея. Розовые его грезы оборвались, и он заснул крепко и сладко.

Но Суханов заснуть не мог и весь в волнении и трепете то и дело метался под своим стеганым теплым одеялом.

Никогда не мог он помыслить, что так окончится для него сегодняшний день. Еще недавно, возвращаясь из Сытова, он был полон грусти и сомнений... и вдруг!...

Долго, долго дожидался он этого счастья, дожидался его целые годы, потому что не со вчерашнего дня полюбил он Фиму. Он знал ее совсем маленькой девочкой.

Раф Родионович и отец Дмитрия по соседству были большими, старыми приятелями: они еще в детстве бегали вместе. Потом пришлось им рука об руку воевать с врагами отечества. Время их ратной службы оставило в них на всю жизнь много горьких и отрадных воспоминаний. Это было тяжелое и великое время.

Всеволодский и Суханов принадлежали к числу тех нескольких сотен воинов, которые под начальством воеводы князя Роши-Долгорукова защищали Свято-Троицкую Лавру от Сапеги.

Во время долгих месяцев знаменитой осады оба они выказали себя истинными героями.

Измученными и зачастую голодными выходили они на вылазки; как львы рубились, не раз были ранены, но все же сохранил их Господь, а они своими руками немало ляхов уложили на вечный сон под стенами Святого Сергия.

Там, в Святой обители, Исай Суханов нашел себе и жену.

Раз во время вылазки он был ранен в голову. Добрые товарищи подняли его совсем бесчувственного и снесли в монастырскую палату, битком набитую ранеными и больными. Больше суток был он в беспомощности, а когда очнулся – увидел над собою красивую молодую девушку. Она перевязывала его больную голову. Его мучила жажда. «Пить!» – прошептал он.

Девушка сейчас же принесла ему кружку с водою, напоила его и, в то время как он пил, все повторяла: «Очнулся! ну, слава Богу, теперь жив будешь, отец Михей сказывал, коли очнется, так все пустое, голова как раз заживет».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.